





Джереми Рид

КОГДА ОПУСКАЕТСЯ ХЛЫСТ

РОМАН О МАРКИЗЕ ДЕ САДЕ

Перевод Валерия Нугатова



KOLONNA Publications

ББК 84 (4 ВЕЛ)

Jeremy Reed
When the Whip Comes Down.
A Novel about de Sade

Перевод Валерия Нугатова

Ответственный редактор: Анастасия Грызунова
Младший редактор: Дмитрий Волчек
Оригинал-макет и верстка: Сергей Фёдоров
Обложка: Олеся Перчикова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

В оформлении обложки использован рисунок Жана-Мари Пумейроля.

© Jeremy Reed, 1992
© Kolonna Publications, 2010
© В. Нугатов, перевод, 2010

ISBN 978-5-98144-131-8

Мы тоже умеем творить.

Д. А. Ф. де Сад

Моя бедность – ангельская, просто мне плевать на собственность и тому подобное... Я пишу, и этого достаточно. Большинство наших занятий неопределенны и бессмысленны, как жизнь бродяги. Мы очень редко выходим из этого состояния сознательно. Я выхожу – через писательство.

Жан Жене



Предисловие

Имя Маркиза де Сада, оклеветанного, превратно истолкованного и даже, подозреваю, как следует не прочитанного, стало нарицательным. Им обозначают сексуальные предпочтения, его упоминают в психопатологии, но редко рассматривают самого де Сада как человека, революционера и идеолога нигилизма, чьи страдания отразились в навязчивой эротомании его произведений. 7

Мой роман – вовсе не попытка вернуть де Сада в рамки исторических фактов и хронологии. Ведь Маркиз помог нам понять: его склонности присущи нам всем, в то время как архетипические модели поведения подвижны. Нравственная основа нашей жизни – психика. Образ де Сада, который я создал специально для этого романа, вдыхает новую жизнь в окружающее: ему уютно и в самом начале, когда Маркиз вспоминает о преступлениях и тюремном заключении, и теперь, в воображаемом Лакосте, куда он приезжает каждую осень, возобновляя сексуальный диалог с несколькими посвященными.

Такой чисто воображаемый прыжок во времени необходим для перехода от узника Бастилии или пациента Шарантона к человеку, живущему в конце двадцатого века. Главный персонаж моей книги обзревает целые столетия, обретает бессмертие, открывает секрет ДНК и неуничтожимой жизненной силы – он живет ныне и присно.

Исторические романы сами по себе не интересуют меня. Де Сад пожелал преодолеть стесняющие рамки своей эпохи, и ему трудно было бы навязать конкретный нравственный кодекс. Биограф способен до некоторой степени реконструировать его жизнь. Моей же целью было домыслить потенциал де Сада, подключить его нервную систему к раздражителям нашего безумного, раздробленного времени.

Я не хотел, чтобы его опасная личность осталась в прошлом, и намеревался запрограммировать его нервные импульсы на настоящее.

8 Мои романы неизменно вызывают полемику. Когда создаешь персонаж, следуя лирическому порыву, а не опираясь на общепризнанные факты, вечно становишься мишенью для критиков, склонных к бытовому реализму с его неизбежными избитыми диалогами. Де Сад ненавидел ограничения: животные в клетке мечтают вырваться на волю, и воображение – тоже.

Мы способны воссоздать историю, но не можем стать подлинными обитателями прошлого. Мы способны соперничать де Саду – заблудшему, обедневшему аристократу, который неоднократно оказывается в тюрьме за содомию, страдает от унижений, заключения и, наконец, безумия, однако наши знания и чувства сильно отличаются от тех, что диктовались политическим, философским, религиозным и общественным мнением его эпохи.

Я поставил перед собой задачу наделить де Сада психологической целостностью. Возможно, в романах Жене, Берроуза, Балларда и воссозданы сексуальные наклонности де Сада, но он переводится в генофонд художественного вымысла, а это чревато крайностями. Когда предоставляешь автономию его подсознанию и бескомпромиссно изображаешь внутреннюю реальность эротического фетишизма, беспокойный ум Маркиза соотносится с военными зверствами двадцатого века и коллективными садомазохистскими культами, которыми отмечено последнее десятилетие миллениума.

Индивиды противятся типовой классификации. Де Сад сознавал, что придумал себя: ведь у каждого из нас есть вымышленные личности. В мозгу полно пустых комнат, и для конкретной цели мы вправе выбрать любую. Интерьер одной из них может повторять дизайн спальни де Сада в Лакосте, по слухам, украшенной эротическими фресками, причем центральная сцена изображала человека, которому ставят клизму. Прочие помещения будут пустыми – белыми или синими. Большинство же занято образами, субъективными фантазиями, и де Сад с сосредоточенностью укро-

тителя львов сдерживал целый зверинец оргиастических субъектов, что вырывались из его подсознания, дабы затем воплотиться на странице.

В творчестве меня интересует прежде всего новизна, я стараюсь расшатать статус-кво. Зачем творить, если всего лишь пересказываешь прошлое или довольствуешься литературными условностями? Нас необходимо шокировать, для того чтобы вывести из самодовольства, и де Сад – наилучшее средство от душевного комфорта.

9

А как же время? В воображении мы можем находиться здесь или где угодно. Мое сугубо современное творение вращается на орбите: де Сад пока только приближается, непрерывно меняясь вместе с нашим пониманием сексуальности. Надеюсь, пока вы ведете машину, его «мерседес» маячит в вашем зеркале заднего вида. Возможно, Маркиз еще догонит вас.

Джереми Рид
1992

- 10 Все начинается с жопы. Восхитительные пропорции тыквы и щель, в которую можно проникнуть. Я никогда не мог рассматривать женщин или мужчин иначе. Пусть они будут повернуты спиной, гениталии спрятаны, лица скрыты – лишь тогда во мне выстреливает адреналин, мне требуется смотреть, и я хочу, чтобы смотрели на меня. Это же так естественно. Извращенцы другие. Они ортодоксальны – им нужен доверительный контакт лицом к лицу. Как будто необходимо видеть друг друга, дабы регулировать свою страсть. Я предпочитаю не соприкасаться головами. Хочу воссоздавать людей в воображении, пусть они тоже представляют меня, как вздумается. Человек – словно мифический зверь, первобытная тварь. Некто в оранжевом шелке, в черной кожаной полумаске. Некто бессмертный.

В детстве, в Соманском замке, громоздившемся посреди сиреневых вершин Воклюза, я возбуждался, когда зимой сгущались сумерки. Моя сердцевина упрочивалась и углублялась, от других меня отчуждали привилегированное положение и обуздываемая мания, которую мне нравилось сдерживать, зная, что однажды я спущу ее с цепи. Желание пантерой засело в моей голове. Притворно безразличный взгляд, похожий на черный нависший смерч. Но порой, когда я переставал мечтать, когда сознавал свою самобытность, щелки кошачьих глаз распахивались свирепыми зелеными солнцами. Я уже знал, что ядро мое – неукротимая ярость. Все послушно сжималось по моему внутреннему велению. Необходимо подчинить человека или воображаемую ситуацию автономному потоку сознания, дабы утвердить свое превосходство, которое выливалось в жестокость. Я всегда презирал посредственности – всех тех, кто соглашается и приспособливается. Они – стра-

жи ограничений. Ум их выключен или затоплен, подобно морской губке.

Он возвращается ко мне: черный спутник, пятнышко на орбите сознания – такое далекое, что не засечь. Затем оно ускоряется и вдруг пересекается с моментом ярости. Черное солнце копит, приводя меня в бешенство. В четыре года я бросился на кого-то в два раза старше. Как сейчас вижу. Солнечные лучи косо падают сквозь тополя на ветру, а мой противник почему-то запутался в изменчивых горизонтальных тенях. Меня нисколько не волновало, что передо мной – принц Луи-Жозеф. Он просто стоял на пути. Неясное овальное пятно его бледного лица, наглого, напыщенного. В ту минуту я не верил, будто кто-нибудь может помешать моим намерениям. Что-то щелкнуло. Справа и слева вспыхнули цветные кляксы – изумрудные, вишневые, шафранные платья. Но цвета не принадлежали людям. Возможно, форму этим пышным шелкам придавали вешалки. Я уже не стоял в парке под закатным солнцем. Я обратился в самодостаточную энергию. Моего соперника парализовало. Его бледное лунообразное лицо настолько приблизилось, что нельзя было не ударить. Он не отступал. И чем сильнее я бил, тем ближе, удушливее придвигалось лицо. Оно напоминало статичную мишень. По невыразительной маске пробегали красные зигзаги. И вдруг чьи-то руки крепко схватили меня, а женщины забились в истерике на заднем плане, где, казалось, внезапно включился звук, и кто-то с огромной силой сгреб меня и потащил назад, а я замахал ногами над землей, барахтаясь, точно муха, застрявшая в паутине.

В своей камере я не могу выпрямиться во весь рост. Два забранных густыми решетками окошка пропускают скудные лучики света. Иногда я протягиваю руки и взвешиваю его в ладонях. Логово мое упрятано за девятнадцать железными дверями. Даже представить себе невозможно. Я мысленно просверлил в каждой дыру, а затем составил план девятнадцати побегов. Чтобы выбраться отсюда, мне придется истончиться, как змея. Извиваясь спиралью, поползти сквозь отверстия и клыками впиться в яремную вену противника.

Времена года сменяются незаметно. Но я обоняю, переживаю, усваиваю впечатления. Мокрые, багряные осенние леса; воспоминания о дальних краях во вкусе вина; фиолетовый шоколад прямым с витрины; хрустящее белье – шелковые панталоны с дыркой в паху на рыжей проститутке, которая и не подозревала, что придется исполнять мои причудливые фетишистские желания. И обитаемое про-
12 оудиями наказания, и от секса в комнатах Лакоста, глубоких и безмятежных, как горные озера: его не перенести в мешок удушливой камеры, где я выл, точно волк в горах.

Все это время я просидел в Венсенне, скоро меня переведут в Бастилию, и я по-прежнему пишу жене, которую опозорил в обществе. Следует направить свои бесчинства вовне и изменить их. Внешний фокус послужит и точкой отсчета для воспоминаний. Все, что я делал и делаю, высвобождается с потоком чернил. Это наконечник стрелы для моих нервов и крови – снаряд, улетающий в непредсказуемые просторы космоса.

Я могу проживать ритуал снова и снова. Я подвязывал свои каштановые волосы косынкой, снимал пиджак и белую сорочку и надевал черный кожаный жилет. Я клал X ничком на кровать и привязывал ей руки к изголовью, а ступни – к изножью. Я всегда искал родинки у нее на заднице – черные островки на лунной поверхности. Под конец я обвязывал ей веревку вокруг талии. Тогда я уже становился кем-то другим: раздваивался, превращался в зверя и ощущал лишь тугое сексуальное напряжение, гудевшее во всем теле. Как мне сожалеть о боли, которая острее наслаждения? Обычно они разграничены. Я испытываю их не по порядку, а наоборот. Меня возбуждает описывать словами то, что я уже свершал в холодной ярости. Розгой я полосовал голую задницу, любясь сиреневыми линиями. Невероятно: ты просто наблюдаешь, как появляются эти рубцы, и хочется, чтобы с тобой сделали то же самое. Свистящая гибкая розга поднимала в комнате смерч. Диалог плоти и дерева, прерывистый свист, от которого у меня вставал. Чего только не рассказывали обо мне! Будто бы я ножом делал надрезы и заливал раскаленный сургуч в ра-

ны распростертой девы. Растерзав ее, требовал, чтобы меня тоже исхлестали плетью, утыканной длинными и короткими гвоздями. После каждого удара я делал ножом зарубку на дереве. Одержимый числами, боялся допустить ошибку. С самого рождения постиг я сокровенный оккультный смысл нумерологии.

Позвольте рассказать вам историю. Возможно, она правдива – возможно, лжива. Решать вам. Читая или слыша что-нибудь, мы преобразуем оригинал в вымысел. Каждый из нас – история: хорошая либо плохая. И я, мое повествование – непрерывно. Я – прошлое, ставшее будущим. 13

Некогда я был большим человеком, то есть принадлежал к привилегированному классу, который с радостью уничтожил меня, едва я пал. Я вышел прогуляться. Стояла ночь. Сильный ливень превратил каштаны в канделябры. Темную листву отягощали кристаллы. Я ничего не искал – разве что ключ к разгадке жизни среди случайных, двусмысленных образов, которые проецирует сознание. Нашел же я кошку. Эта кошка привела меня к двери, и за дверью оказался человек. Но это еще не все. Сказать ли вам, что кошка была черная и желтоглазая? И что человек не был ни мужчиной, ни женщиной, но тем, кому я мог вставить, не знакомясь? Мы даже не разговаривали. Меня отвели наверх и показали комнату, где была лишь круглая кожаная кровать под зеркальным потолком. После того соития отчасти исчезла моя неприязнь к обоим полам. Это напоминало секс с новым видом существ.

Я отвергал то, что человек обычно требует от секса, – а проекция, как правило, исходит изнутри вовне, и партнеру навязывается фантазия. Я хотел, чтобы другие зримо переживали мою боль и безумие во время оргазма, и хотел проецировать их страстное стремление быть мною в кульминационный момент – на тело, которое я для этого принимал. В минуту оргазма я был смерчем над прибрежным городком. Меня сотрясал галлюцинаторный вихрь мщения. Не с чем сравнить мощь моего взрыва, и за ним звучал вопль. Люди рвались из комнаты, но двери были заперты. Оставались один на один с тем, что увидели, позволяли себе его осознать, и оно превращалось в реальность. А я уже выходил

из транса, спешил избавиться от тех, кто был необходим для моего удовольствия. Я хотел остаться один – устремлялся в желтеющую дубраву или уходил в себя и отыскивал точки на внутренней карте, где можно укрыться и побыть одному. Это укромные места, в которых мы живем. Если бы я разыскивал следы своего существования, я совершил бы путешествие внутрь.

14 Я был женат. Сделал жену сводней. Рене-Пелажи. Монтрэй. Откуда ей было знать о моем двуличии, неизлечимой сексуальной мании, что завладела мною? У жены был тик под левым глазом. Нервные окончания асинхронно дергались. Я мог справиться с этой аномалией, если наращивал силу и пристально смотрел на жену.

То, чего я хочу, прибывает ко мне либо не прибывает. Белье, костюмы, духи, пирожные, ванильный шоколад, бумага, чернила. Но все, что попадает ко мне, кажется неуместным. словно, оказываясь в моей камере, предметы утрачивают индивидуальность. Возвращаются к своей вещности, и я не могу их идентифицировать. Только сочинительство позволяет мне выразить гнев и отомстить за то, что меня превратили в пресмыкающегося, косоного, частично лоботомированного льва в тюремной камере. В этом ракурсе я – неподвижное око бури. Я могу свергнуть будущее, злодейски убив настоящее. Сочинительство – жила, распарывающая вселенную. Хорошая строка – точно хирургический шрам, который не хочет заживать.

Если я воображаю замок, изолированный от мира в Черном лесу, до того удаленном от людского интереса, что всевозможный разврат остается там незамеченным, я по сути открываю печную заслонку своего подсознания и вступаю в пространство, где неукротимый зверь рыщет вдоль стен с такой быстротой, что сдирается кожа. Пантера съезживается до облезлого кота. Гениталии мотаются, зудя от язв. Когда он в ком-то чувствует влечение, ему хочется рычать. У меня нет времени на компромисс. И тогда не было, а сейчас и подавно.

Что знают о жизни правильные люди, конформисты, посредственности? Если они не сдвигали измерений – значит, и не жили. Одни сосут через соломинку шербет, считая его

кокаином. Другие отдаются погоне за деньгами и заканчивают слепыми, уродливыми лошадками, выворонными в дальний угол поля. Им приходится снова и снова узнавать, что спираль инкарнаций подталкивает нас к максимальным крайностям. Бред – лучший способ познать себя. Его достигают форсированной подготовкой к оргазму; баллистика экстаза перенапрягает, я превращаюсь в снаряд и несусь по внутреннему космосу.

Поскольку выхода уже нет, можно двигаться внутрь. 15
Одни всегда спешат по делам, другие прокладывают путь внутрь себя. Я знаю и тех, и других. Мне совали в кормушку пищу, и я был за нее благодарен. После еды я лежал, будто змея, раздувшаяся и вялая, переваривал яд, который со временем оброщу в слова. А слова – невесомые сущности, пока остаются лишь в мыслях, но стоит их записать, и они обретают вес. Сопряженный с этим физический труд сродни толканию товарных вагонов через Сибирь. Долгое, беспощадное странствие. По сравнению с ним те, кто погибает на войне, и те, кто тиранит других, сидя за конторским столом, путешествуют налегке. Политик может жестикулировать. Моя же кисть прикована к странице, а другая рука служит противовесом. Столь странная поза обусловлена писательством. Кажется, будто рука мыслит, а на самом деле она старается не отставать от автономного разума. И со временем тяжелеет. Напоминает птицу с переломанным крылом и корчится. Анатомам следовало бы изучить руку писателя в момент смерти. Она путешествует всю жизнь, вечно двигаясь прямым к краю. А затем, изгибаясь в обратную сторону, возвращается в тень. В этом должен быть какой-то урок. Справа налево и вспять. Сотворение мира в радиусе физических ограничений.

Я скован и при этом свободен. Человек, приносящий мне еду, полон животной радости, и его нетерпимость позволяет предположить: он так и не простил мир за то, что не посажен в клетку. А я отстаиваю свои права – с вызовом. Я желаю оставаться здесь, дабы измордовать человечество. Поначалу я противился заключению. Я до крови стер пальцы о камни, охрип от крика и, даже умолкая, по-прежнему слышал свой голос. Я мечтал не о триум-

фальном освобождении, но о переселении в такую даль, где никто не нарушал бы моего одиночества. Чем больше удаляешься от людей, тем экстремальнее аутоэротический выбор, тем мстительнее мечты о вселенском возмездии.

16 Что ты знаешь обо мне, читатель? Ничего, помимо предвзятого мнения о де Саде. Был ли я когда-то молодым младшим офицером в ярко-синем плаще и мундире с красными нашивками? Я ли служил в захватнической армии, переправлялся через Рейн, наступал на равнинах северной Германии? Ганноверцы курились в июньском зное. Людской пот мешался с конским. Если это я кружился в кровавой турецкой бане, в неподвижной безликой толпе, выхваченной прожектором, то давным-давно отрекся от этого осколка биографии. Я стал другим.

Но в том времени что-то приковывает внимание. Слово моментальная фотография, которую упорно переснимает память. Я лежал в хлеву на немецкой девушке. Длинный луч солнца окрашивал багрянцем солому. Я искал того наслаждения, что уже утомляло меня. Толчок и встречный толчок. Наверное, ночью в хлев пробралась лиса: справа от входа – вихрь из разметанных перьев. Секс у меня был неторопливый. Подняв голову, я заметил хлыст на гвозде. Этот образ остался висеть в моем сознании. Он плыл, подобно щуке, что нежится в стоячей воде, за своей подводной летаргией скрывая дикарскую прожорливость. В тот миг подавленного оргазма словно разверзлась безвозвратная пропасть между моими грезами и девушкой. В хлеву посветлело. Должно быть, вышло солнце: его алое сияние разогнало иссиня-черные тучи. Вдруг стало очень светло. Я был таким незащищенным, меня оскорблял этот презренный секс. Минуту назад я еще волнообразно сливался с рябью эротического потока, но вдруг освободился, внезапно отпрянул, и это потрясло мою белокурую партнершу. Ее тело по-прежнему двигалось в такт с моим. Она приближалась к призрачной кульминации. Я же знал одно: для равновесия мне потребен этот хлыст. Еще не сняв его, я уже чувствовал его вес, небрежный щелчок и напористый удар. Девушка еще не опомнилась после моего ухода. Ее руки искали неосязаемое тело. И вдруг мне стало совер-

шенно ясно, что надлежит сделать. Словно вся моя жизнь готовила меня к этому бесчинству. Багрянец заходящего солнца пронесся ураганом в голове. Все казалось недвижимым. Время словно остановилось. Девушка перевернулась на живот, будто невольно предвосхитив мои желания. Она не хотела признавать, что ее отвергли, и лежала, обхватив голову руками, устремляя спутанные мысли в непривычную темноту. Что-то во мне щелкнуло. Произошел разрыв, словно разъединились два проводка. Мне захотелось сделать ей больно – за свою жалость к ней. Девушка отпрянула от первого же взмаха. Не поверила, что ее бьют. И за это неверие я хлестнул снова, еще сильнее. А за то, что не сопротивлялась, замахнулся опять. Мой лоб усеяли горячие капли пота. Я потерял счет ударам и взмылился. Наверное, в какой-то момент девушка убежала: я хлестал непрерывно, и хлыст выбивал пыль из соломенного ложа. Я был близок к обмороку. Мне хотелось обратить орудие на себя, но не хватало сноровки, чтобы оставить на своей плоти синевато-бордовые рубцы. Ох уж эти физические границы. Я хотел быть хозяином положения, но мешали телесные изъяны. Я швырнул хлыст в солому и потом наблюдал, как он трепещет, испуская дух, точно пристреленная змея. Солнце переместилось, и тени исполосовали светлый пол. Мне хотелось лечь и отдохнуть, но я подумал, что лучше вернуться в роту. Моя одежда насквозь промокла от яростного пота. Я напоминал объездчика, скакавшего без седла на норовистом жеребце. На ладони остались глубокие порезы. Рукоятка измочалила плоть. Мои первые садистские стигматы.

Оглядываясь назад, я возбуждаюсь. Электрические сигналы разносятся по всему позвоночнику. Я вновь осязаю пухлые белые ягодицы, которые тогда порол. В воображении я вхожу в нее: девушку никогда не имели сзади, и она вздрагивает, сравнивая мои размеры с узостью своего прохода. Дабы утолить мою страсть, ей пришлось бы стать железнодорожным тоннелем. Но я непреклонен. Моя горизонталь желает восстать вертикалью. Я хочу вертеть ее тело на хую, будто целый рой беглых муравьев щекочет мне крайнюю плоть, и чтобы головка была чувствительна, словно ее лижут сквозь медовый купол.

Некоторые люди приходят в мир обрести себя. Они обшаривают четыре стороны света. Я же явился в убежище камеры, дабы вообразить то, что испытал. Временами я похож на медведя. Превратился в пещерного зверя посреди цивилизованного города. Чего они от меня хотят? Неужели полагают, будто я всю жизнь подражал сексуальной распущенности герцога де Ришелье или аббата Дюбуа?

18 Они думали, что уж в тюрьме-то меня обуздают. Наоборот: я никогда еще не был столь опасен. Не в силах обрести наслаждение в реальности, я обратился к мести, которая потрясет потомков. Много людей заявляли о своих страстях, но метаморфозы моих сексуальных интересов не сравнятся ни с чем. Нет такой телесной зоны, к которой у меня не было доступа. Я знал мужчин, что становились женщинами, и женщин с мужскими чертами. В этой перестановке и следует искать удовольствие. Наделите особу любого пола противоположными признаками, и она получит мучительное наслаждение от неестественного секса.

Так кто же я? Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад. Родился в одной из первейших семей Франции, с имениями в Лакосте, Сомане, Мазане и Арле. Родственник Лауры де Сад, которая в 1325 году вышла замуж за Хуго де Сада и стала Лаурой петрарковских сонетов. Она-то и служит символом в моих грезах; ее свет ослепляет мои галлюцинаторные ночи.

Перескажу вам сон, где она пришла меня утешить. С неопишуемым удовольствием и жадностью читал я Петrarку. Близилась полночь. Я уснул с книгой в руке. И вдруг явилась она. То был вовсе не оптический обман: она стояла в моей камере, и ничто не могло омрачить ее сияния. Она была в черном, а белокурые волосы ниспадали на плечи, словно под воздушным потоком. Она сказала в моем сне:

– Ты тоже способен обрести пространство. Я умерла, но тебе нет нужды умирать. Твое внутреннее измерение породит физическая непрерывность.

И почему только я не могу забыть об этой мертвой женщине? Возможно, все из-за примеси внутри меня. Прожив два года, подобно зверю в собственных испражнениях, я по-прежнему помню свой сон и то, как этот голос определил мое будущее.

Меня утешает поэзия, а мир побуждает к опасному натиску, который мы ассоциируем с манией. В своем заточении я воображаю, как иду по деревенским просторам. Сырой осенний день, стайки красных и желтых листьев порхают у меня на пути. Я вспоминаю, что свобода – это способность столкнуться с пространством. Я мысленно шагаю, стараясь не думать. Ступни мои намokли от обилия холодной росы. Если бы меня остановили и спросили, я не сумел бы ответить, куда направляюсь и зачем. Над полями расправляет крылья крупная красная птица, разжившая от крови. 19

Вина Мерсо, Шабли, Эрмитажа, Луары, Монтепульчано уже готовы побаловать нёбо. Мы обретаем вкус к ним вместе с обретением нежнейших телесных отверстий. Когда обонятельный стимул усиливается, упираешься в стену, куда бы ни повернулся. И какая разница, если эта стена бывала голубой, красной, зеленой или фиолетовой? Я уже приобрел повадки хамелеона. Войдя в мою камеру, вы не отличили бы меня от пола, стен, потолка. Не распознали бы мое присутствие, даже если бы сами занимали треть моего загона. Я сросся с ним в единое вещество – гранит, в котором Мэн Рэй увидел мое лицо.

Я – каменный. Я видел себя в других работах художника – мой портрет с каменным профилем, точно высеченным из стен Бастилии. Неужели это я? А его фотографический «Памятник де Саду», на котором судорожно-соблазнительная задница помещена в крест? Он изобразил именно ту ложбинку, что вызывала у меня сексуальный бред. В этом проходе я обнаружил дождевые леса, пещеры с драгоценностями, колдовскую книгу, раскрытую на странице с тайнами оккультной вселенной, и оргии на вулканических пляжах. Чем больше я углублялся, тем ближе подходил к постижению мистического ока.

Я видел и других. «Стул» Аллена Джоунза – кукла в черных кожаных трусиках, перчатках и ботинках. Она превратилась в стул, подобно девушкам из «Жюльетты». А вот я в «Разврате» Кловиса Труя – утонченный эстет, окруженный полуодетыми девушками, которых секу: все они в черных чулках и на высоких каблуках, а фоном – развалины

опустошенного Лакоста. Вот я в серии работ Ханса Беллмера «Сад», полных каннибальского эротизма, судорожных спазмов, анаморфных фигур: клейкие и трансгрессивные, они связывают секс с пальцем и актинией.

А вот я в Магриттовой «Философии в будуаре». У туфель вырастают пальцы, у платья на вешалке проступают груди. Что мне толку от этих изображений? Неужели я имею к ним отношение? Одна жизнь переходит в другую по инерции, в связи с тем, что мы зовем сопереживанием. Частичка 20 моей жизни, моей работы передается, как ток. Потомки – лишь череда электрических импульсов. Тем не менее, в моей жизни есть факты, хоть они мне и отвратительны. Моя армейская карьера завершилась неожиданно. Когда в феврале 1763 года премьер-министр Людовика XV герцог де Шуазель заключил Парижский мир, я вернулся домой. И тогда развязалась вымышленная война за слушателей. Я веду ее до сих пор.

Я уже был перемещенным лицом. Мне хотелось удовольствий, доступных лишь в привилегированных кругах. Я был вождем, пророком, провозвестником нового сексуального идеала. Скандал, раздутый дома вокруг моего имени, отчасти рассеялся после лихорадочных упреков, адресованных моему прежнему опекуну аббату де Саду. Полиция устроила облаву в борделе, который, по слухам, посещал аббат, и обнаружила его в постели с двумя девицами. Свои утехи он приправлял всякими причудами. Кисти и ступни его были прикованы к столбикам кровати. Одна девушка сосала хуй, а другая бросала ему на живот золотых рыбок из банки. Трепыхание этих рыбок возбуждало аббата, который представлял себе, как они задыхаются.

Меня сместила мысль о проститутке, вынужденной покупать банку с тропическими рыбками, дабы укрепить нестойкую эрекцию клиента. Но то было предостережение: полиция уже заподозрила, что мое сексуальное удовольствие связано с жестокостью. Жаловались даже девушки, нанятые специально для порки. Поэтому я решил действовать вызывающе, чтобы обезвредить менее опасные слухи. Если распуścić небылицы о том, что я психопат, можно спрятаться за невероятным вымыслом.

В то время я полюбил загородные прогулки. Отправлялся на поиски себя и других. В Авиньоне, Париже, Марселе я развлекался, а затем скучал. Мои полисексуальные партнеры перепробовали все на свете. Мужчины-специалисты по бондажу; женщины с черными сигаретами, свисающими с алых губ; транссексуалы, красившие лобковые волосы в синий или сиреневый. За деньги можно было осуществить любую блажь. Да и сейчас можно.

Путешествуя, я нашел немало ключей к разгадке своей личности и узнал, как я связан с миром. Я ничего и никого не искал – просто отдавался на волю случая. Я ощупывал случайные эпизоды сюжета, который мы называем реальностью. Порой уезжал на несколько дней, отступая к своим старинным убежищам – Оверни и Виши, понукая коня на широких лавандовых полях Прованса: лицо обветривалось, а разум плыл по течению автономного сознания. Временами я резко останавливался, чтобы встретиться с самим собой. Мне было интересно, как разовьется мысль, если ею не управлять. Я вбирал в себя ландшафт или думал, будто вбираю, однако не был готов к обезоруживающему схлопыванию. Возможно, такова смерть. Но тут наоборот: нельзя вернуться из образа, который тебя поглотил. Ты удаляешься от тела.

Я врезался в тугую голубую дистанцию, пытаюсь прибить в точку схода, и вдруг непроизвольно приходил в ярость. Я набрасывался на того, кто стоял на обочине просто так – поступок, диктуемый разочарованием. Я хотел господствовать над вселенной в образе человеческой жопы – эта вечная забота, главенствующее наваждение водило меня по тюремным камерам или больничным палатам; во всех формах она бесчинствует в моем подсознании. Порой я представлял, будто скачу по глубокой ложбине меж холмами. Я хлестал коня, стимулируя экстаз, который я познавал на вершине оргазма. Мой хуй становился слоноподобным. Он мог бросить вызов целому полю быков и одолеть их своей потенцией.

Я останавливался в гостиницах, взмыленный после неистовой скачки. Свет холмов наводил лоск на мое лицо. Долины воссоздавались в морщинах под глазами. Кожа моя

пахла виноградниками, горчицей, лавандой. Если в гостинице была молодая девушка, я щипал ее за мягкое место. Мне хотелось перегнуть ее через колено и отшлепать тапкой по щекам, пока мое проникновение не покажется ей вполне естественным.

22 Но внутренние поиски утомили меня. Осень манила запахом гнили и разложения. Перезревшие конические груши, размеченные осами; глухой стук крапчатых паданцев в ветреных фруктовых садах; большие стаи скворцов, вздымавшиеся волнами. Лишь тогда, среди летящих листьев, утопающих в грязи дорог и разжиженного природного изобилия, я приземлял себя настолько, чтобы вступить в цикл. Оглядываясь назад, вижу, как стою у дороги в поле, исполосованном ультрамариновыми тенями, и решаю вернуться в Париж. На краткий миг ко мне вернулось утраченное наследство. Возможно, это чувство длилось целый час. Комья грязи облепили мои ботинки. Черное пальто в пятнах. Но я не обращал внимания. Я видел, как вселенная дала трещину. Сок вытекал из жирных зеленых яблок; листья растоптаны в плетеный ковер; грозди раздавлены в чане. Природа выжимала себя досуха в преддверье железной хватки холода. И я знал, что излом заметен во всем. Он в душах и телах наших, проходит под землей и прочерчен под водой. Он есть в космосе, им отмечены все планеты. А на ином уровне сей излом – дыра в жопе Жанны Тестар, девушки, с которой я встречаюсь в Париже.

Мама предупреждала меня о мужчинах. Разумеется, и этот женат. Они всегда женатые – те, что требуют странных услуг, воплощения фантазий. Обычно я понимаю разницу между собой и фантазией клиента. Он пришел сюда, дабы вступить во внутренний диалог, а я – просто отрешенный символ этой главной потребности. 23

Сюда забредают не только мужчины. Женщины тоже. Они либо желают скрыться и расширить свой сексуальный репертуар, либо жаждут моего тела. У меня побывали оба. Маркиз и мадам де Сад.

Кто я? Это загадка, не разрешаемая именем. Жанна Тестар. Да кто угодно. Когда я говорю это, никто не откликается. Лишь овальное озеро зеркала отражает натюрморт, который его дополняет. Я – никто, кто угодно, некто. Хочу забрызгать жизнь рыжими каплями и встряхиваю перед зеркалом волосами. Отражение – моя подруга. Люди, что приходят и уходят, вероятно, не смогли бы даже описать меня: цвет моих глаз (голубой с ореховым), заостренную дугу рта и явную дисгармонию между левым и правым профилем. Может, только живописец в силах изобразить мое лицо?

Иногда мне кажется, будто меня нет. Когда я кувыркуюсь в черных чулках и ноги мои как бы отсечены от тела, а разум движется по орбите взошедшей во мне звезды, я становлюсь прозрачной. Я вижу, как смотрю с потолка вниз. Я – Жанна, я существовала до того, как он меня посетил. Пожалуй, я могу описать его лучше, нежели он сам определил бы меня. Невысокий, ниже среднего, но восполняющий этот недостаток надменностью и высокомерием, которое выделяло его из толпы. Он носил серое и темно-оранжевое. Лоб выпуклый, голубые с лазоревым глаза. Вечно сучит руками. На самом деле, они ему не шли. Но в его характере была

притягательность. Большинство людей проходит незаметно. Это не реальные существа, а некий объем, неразличимая масса, что движется по улицам. Они нейтрализуются твоими мыслями, которые занимают больше внутреннего пространства. Но что-то в этом человеке приковывало взгляд – и не отпускало. Взор мой опускался до самого дна. Я понимала, что никто прежде не делал с этим человеком ничего подобного.

24 Инстинкт подсказывал мне избегать его, но из духа противоречия я видела в нем путь к самораскрытию. У каждого бывает переломный момент. Мы подступаем к границам своего «я» и решаем, идти ли дальше или вернуться. Меня тянуло вперед. Он удержал два глаза, что я хотела извлечь из глубин его мозга. Я застряла там – не вырваться, пока он не отпустит. Потому и вернулась вместе с ним. Даже если бы он не притронулся ко мне, я бы все равно была как изнасилованная. Уж таков он. Этот человек умел проецировать свои намерения, и казалось, будто тебя ударили, даже если руки у него связаны. Он шлепал меня упругим концом своего разума.

Он был незаурядным человеком. Если поворачивал голову влево, я смотрела туда же. И его очень любила жена. Рене-Пелажи де Монтрёй. Она призналась мне по секрету, что была его сводницей. Не в силах утолить его ненасытный голод, она смиренно подыскивала девочек и мальчиков, которые не только удовлетворяли, но и развивали его сексуальные пристрастия. Рене красотой не отличалась. Но в чертах ее было какое-то свечение, особое убеждение и вера – преданная любовь изнутри озаряла ее лицо, вопреки ее желаниям. У всех есть тайный лик. Наши внешние черты – лишь пентименто. Они скрывают то, что творится внутри.

Рене не только любила мужа, но и завязала отношения со мной. Когда я разговаривала с ней, ее руки поднимались по моим шелковым чулкам. Она все время делала вид, будто ничего не происходит, но ее пальцы ощупывали деньги, которые я хранила под черным ремешком подвязки. Это невероятное уравнение между деньгами и сексом заводило ее всегда. Когда все заканчивалось, она плакала.

На данном этапе раньше ничего не происходило – ну, так она утверждала. Ее семья принадлежала к старинной аристократии. Они возмущались человеком, за которого она вышла, и хотели его спровадить. Его скандальная распущенность, вопиющие связи со шлюхами – все это оскорбляло их. Де Сад готов отхлестать по заднице собственную мать, однако я понимала: это не только его идефикс, но также эксперимент, способ выяснить, как далеко можно зайти. Способ достичь чего-то иного. Он стремился к тому рубежу, где пересматривают свои сексуальные риски. Даже если он не видел этого, я знала, что он движется к этой точке. Я обнаружила в нем разрыв между чувством внутренней и внешней реальности. Он разговаривал со мной, но все время словно отсутствовал. Такое бывает с некоторыми мужчинами, но у него раскол был явным. Он шел туда, куда я последовать не могла. И в такие минуты мне казалось, будто он меня использует. Я была здесь, он – там, и между нами – никакого мостика. Как будто он на луне, а я лежу на кровати, выгнув ноги, и надеюсь его приземлить.

25

А тут еще Рене. Наверное, ее мать нанимала шпииков, и Рене перехватывала письма, следуя за мужем по городу тропью случайных улик. Она стремилась к невозможному – исправлению мужа, но столкнулась с тем, чего не могла опровергнуть: обвиняющими голосами терзаемых жертв.

Разумеется, нам платят, но всему есть предел. Де Сад нуждался не в теле, а в управляемом роботе. От себя он требовал больше, чем мог выполнить, а жертву пытался уничтожить. Тело слишком ограничено и для его страстей не пригодно. Он хотел быть собой и кем-то другим. «Я истребил в своем сердце все, что могло бы помешать моим утехам». Это его слова. И он их олицетворял.

Я мастерю веера. Рисую узоры на шелке: виньетки с идиллическими сельскими пейзажами. Влюбленные стоят над голубой рябью воды, на мосту, изогнутом бровью. Дом с открытыми ставнями втиснулся меж тополей. Когда живешь в городе, приятно выдумывать другие миры. Порой я брызжу на серый шелк оранжевыми и золотистыми листьями, вызывая осеннее настроение. У меня есть особые клиенты: они повествуют о своих путешествиях

и заказывают тропическую экзотику – растение, птицу, экстравагантную листву, морскую бухточку. Некоторые желают изолировать свой фетиш: красные губы, сомкнутые на эрегированном члене; вуайерист подглядывает за влюбленной парой на диване, и так далее. Я творю и получаю коммиссионные. Мой доход невелик, и его не хватает: город нарушает твоё уединение, твоё право на жизнь, не зависящую от денег. Я понимаю, что живу на краю пропасти. Из-за этого я и повстречала человека, с которым иначе никогда бы не связалась. А ещё мне было любопытно. Всякий раз, выходя продавать себя, я воображала, будто всего лишь притворяюсь. Я останавливалась на некой отметке, но затем шла дальше и перерезала ленточку, отговариваясь тем, что это последний раз. Но деньги оказались полезными, а со временем даже необходимыми. Я добавляла новые штришки к убранству своей квартиры и покупала ткани, духи, шелковое нижнее бельё. Красилась ярко-красной помадой и ловила взгляды на улице. Какое прекрасное чувство – знать, что ты – конкретный, а не абстрактный человек в огромной безымянной толпе под голубым мартовским небом.

Но он зашел слишком далеко. Я испугалась с самого начала. Он настоял, чтобы его шофер отвез нас к нему домой. Я не узнавала улиц, по которым мы мчались, понимала, что знакома лишь с крохотной частью этого громадного парижского лабиринта. День за окнами чудился нереальным. Люди шли по своим привычным делам, но казались необыкновенными. Я уже сомневалась, что живу с ними на одной планете. Я помнила все лишь урывками. Церковь, цветочный магазин, кто-то переходит дорогу и теряет зеленую шляпу. Отдельные кусочки не складывались накрепко. Не желали войти в мое сознание и остаться там. Я не видела лица шофера. Он носил темные очки, и шляпа отбрасывала наклонную тень. Оба мужчины молчали. Мы пронеслись по аррондисманам, напряжение росло, и моя ошибка обочивалась молчаливым упреком.

Его дом стоял в стороне от улицы. Позже я узнала, что к югу от реки, за Люксембургским садом. Чугунные ворота в высокой стене. Сверху – шипы, дабы отпугнуть непрошенных гостей. Дом укрывался за собственной тишиной.

На белых стенах мелькали голубые тени. Заросли можжевельника застили свет.

Меня провели в комнату на втором этаже и оставили с ним наедине. Своим холодным молчанием он нервировал меня. Я утратила обычную власть над клиентом. Просто дублировала его безрассудную манию. Он сковал меня и знал об этом. Потом он запер дверь и открыл панель в стене. Указал на вторую комнату внутри первой: поменьше и компактнее, омытую светом красной лампочки.

27

Шагнув внутрь, я очутилась в каком-то другом месте. Когда он вошел следом, я впервые осознала, что угодила в ловушку. Я стояла в комнате внутри другой комнаты. Как в китайской головоломке, каждое новое помещение было меньше предыдущего. Его возбуждал такой откат. Казалось, он уже вставил в меня психический зонд. Я холодела и боялась, что увижу на ногах голубые ледышки вместо пальцев. Последняя комната была убрана черным. На стенах – орудия наказания: целый арсенал плеток, розог и ремней с металлическими нашлепками, которые следовало нагревать на огне. Картины с извращенными сексуальными позами: сидящую на корточках женщину били плеткой, пока она сосала хуй мужчины, стоявшего перед ней на коленях. Казалось, это не я обнаружила предметы, а они сами нашли меня. Я поддавалась его гипнозу. Я смогла зайти столь далеко, лишь бессознательно подчиняясь его велениям.

Я не была готова к тому, что произошло. Я хочу сказать, тело занимает некое пространство и обладает правом на уединение. Обычно мы преодолеваем эти преграды, когда нас увечат, и тогда понимаем, что сорвались с орбиты – вышли за свои пределы.

Мы не знали друг друга, и все же он хотел, чтобы я жестоко высекла его, а затем он учинит то же самое надо мной. Это как сниматься в фильме, лишенном смысла для одного из участников. В звенящей тиши по спине его щелкала плетка. Красная полоса и синяя, красная постепенно синееет, и снова, и снова... Я прицеливалась хлыстом, и он легко возвращался ко мне. Я ничего не чувствовала. У меня слишком легкая рука; он сыпал проклятиями, требуя

жестокости и готовясь ответить столь же свирепо. Он словно молился про себя, напоминая паука, что пожирает собственные лапы и радуется увечьям. И я впервые осознала, что могу кого-то избить. Во мне копилась сила инерции. Я вдруг поняла, как можно переборщить. Оставаясь в стороне и не желая участвовать, относясь к происходящему с инстинктивным отвращением, я направляла свою агрессию на узкую полоску изрубцованной плоти. Мне хотелось, чтобы он исчез; казалось, если я буду избивать его и дальше, реальность расколется, как стекло. Я вновь окажусь в своей мастерской среди кистей и тканей, и в окно загадочным другом польется свет. Мне хотелось расплакаться, но гнев был сильнее. Этот человек мне никто. Я могу сломать ему хребет и убежать, говорила я себе. Пусть даже стану после этого совсем другой. Выйду на незнакомую улицу, взгляну на небо, которому здесь не место, углублюсь в незнакомый квартал, а потом сорвусь.

Но я по-прежнему монотонно стегала. По его спине текла кровь. Он дрожил в ритме боли. Неужели это я делаю? Я представляла, что меня здесь нет, что я рисую красную бабочку на голубом шелке.

Вдруг плеть начала щелкать сама. У меня не было сил продолжать, но в ушах взрывами отдавалось эхо. Удары снаружи и щелчки в голове. Я почти слышала клацанье его мыслей. Он собирался транспонировать свое безумие, дабы теперь страдала я. Отвлечься от наслаждения битьем и наброситься на меня. Чтобы надругаться надо мной, ему нужен кайф унижения. Перерыв означал разрядку.

И я повиновалась. Заняла его место и заткнула себе рот в ожидании боли. Он разорвал на мне сзади платье. Я перегнулась через стул, не веря и не желая отождествлять свое настоящее «я» с этим унижением. Со мной такого произойти не может – поэтому я и не чувствовала боли. Он бил кого-то или что-то другое – мешок, стул, тело, все равно. Предметы сталкиваются так же, как мы. В мыслях я шла по солнечной улице, рассматривая витрины. В черном платье, с черным бантом в волосах. Останавливалась взглянуть: оранжевая блузка на манекене, подставка с серьгами у ювелира, винные бутылки. Раз – кафе, и снаружи

люди за столиками, два – продуктовая лавка, три – матовое стекло похоронного бюро. Резкие переходы. Боль не имела значения. Я отключилась и ничего не чувствовала. Помню, удивлялась его бесполезной трате сил, как он царапал на доске красным мелом, считая удары. Он резал себя кончиком ножа, оставляя на коже запутанные контуры неглубоких ран.

Он был в ярости оттого, что я не наслаждалась, но и не мучалась. Я была снизу, и он никогда бы меня не простил; окажись я сверху, он убил бы меня. Когда он застыл, я не могла встать. Не хотелось показаться ему сломленной. Я была точно птица без крыльев, лебедь, что не может подняться над озером и улететь вместе с извилистой гирляндой, перечеркнувшей осеннее небо. Я стала солдатом, и меня бросили умирать на склоне горной вершины. 29

Чувства мои притупились, я не воспринимала окружающее. Тишина волною сомкнулась надо мной. Меня уносило тяжелым прибоем, мчавшимся к пляжу. Я услышала, как мое тело остановилось на колкой скрипящей гальке. Меня бросили там, точно дохлого мула: в детстве я видела, как его тушу катили по берегу. Море протащило ее через рифы с бессердечием хирурга.

Я была не готова и к тому, что произошло потом. Он говорил, что хочет меня сзади, что в этом смысле я еще девственница. Я ощущала его напор – его кровь гудела в бреду. Он собирался силой войти в меня, пронзить меня своей похотью. У меня не было сил сопротивляться. В шоке я повиновалась. Что бы ни случилось, я не стану предметом его вождения. Если он и вошел в меня, то была не я, а кто-то притворявшийся мною. Я расслабилась и была просто равнодушна. Раньше это вызвало бы у меня отвращение, а теперь казалось всего-навсего нелогичным. Но мне было больно. Диспропорция, наверное, огромная: его ширина – и моя узость, его потребность – и мое сокращение. Меня вскрыли, внутри все горело. Он дышал быстро и сбивчиво. Если б он только мог, казалось мне, то пропорол бы меня насквозь, просверлил навывлет. Ему хотелось сексом уничтожить секс, ибо секс не воплощал грядущее, но погружал в настоящее. «То, чем мы здесь занимаемся, – лишь прообраз того,

чем нам хотелось бы заниматься», – писал он мне позднее. Однако его философские представления не отменяли насильственной содомии. Они появились позже, с горьким лимонным послевкусием, и растянулись, как его жизнь.

30 Меня посадили на кол. Он проник в меня так, как не проникал никто. Ни малейшего снисхождения к моей боли. Моя шоковая анестезия и отрешенность уже проходили. Он ввинчивался в меня. Мне все казалось, что он близок к оргазму, который он всякий раз отсрочивал, отодвигал, а затем возобновлял прежний ритм. Он смотрел на меня – и на себя. Ему хотелось, чтобы я была им, а он – мною. Его наслаждение омрачалось его же изоляцией. Он должен был стать обоими, а оставался лишь одним. «Чувственное наслаждение всегда регулируется воображением». Он писал мне это из тюрьмы.

Я больше так не могла – меня просто калечили. Я ждала, чтобы он кончил. Сжавшись, удержала его. Он угодил в ловушку. Ни подняться, ни выйти. От моего натиска у него перехватило дух. Он изливался, чертыхаясь. Под конец обезумел, перестал думать о будущем и поник, не в силах вновь возбудиться.

Мне хотелось лишь одного – бежать. Идти быстро и долго, чтобы навсегда заблудиться, очутиться в другой стране. Кем становятся двое после насильственной близости? Идти некуда. Мне хотелось дематериализоваться, оставить его один на один с безвоздушным пространством. Но мы были, наоборот, чересчур осязаемы. Он обильно потел. На торсе сверкали капельки. А между нами – одна лишь ненависть. Если и не открытая вражда, то паранойяльное отчуждение. Два обломка – две статуи, вынесенные приливом и стершиеся о гальку. Я чувствовала, как сзади по ногам течет кровь. Могла ли я простить мужчине это унижение? И мог ли он простить меня – свою партнершу? Нас, бессловесных, выбросило на берег. Во рту был привкус смерти.

Наверное, мы оба поняли, что единственный для него выход – убить меня. Но его извращенность нуждалась в очевидце мании, что подтвердил бы его порочность. Он обладал лишь своими глазами, руками и мотивами, а я умножала их. Вместе у нас четыре глаза, четыре руки, четыре

ноги, две спины, две задницы. И всякий раз, когда историю слышал кто-то еще, эти компоненты умножались. Его противоречивая натура стремилась к индивидуальности и вместе с тем к универсальности. Он хотел жить вне закона и при этом держать закон в курсе своих сексуальных пристрастий.

Вряд ли он когда-нибудь был хорошим любовником. Он ожидал от секса невозможного – истребить фантазию, воплотив ее. Она же ускользала от него. Он никогда бы не наслаждался, поскольку смотрел в зеркало, а не на тело своей партнерши. Всякий раз он бросался на это отражение и, очаровываясь своими ранами, получал представление о боли как наслаждении. Видимо, этим и объяснялось его равнодушие к страданиям жертв. Проживая их роли, он полагал, что страдает за них. Как они могли выдвинуть обвинения и упрятать его в сумасшедший дом, если единственное его преступление – надругательство над собой? Вот, наверное, почему он не мог остановиться. Я была лишь звеном в цепи случайного отбора.

Его возбуждали и другие стороны секса. Осквернение гостии на сатанинской литургии. Я воспротивилась. Он хотел языком возложить черную облатку мне на язык.

Не знаю, как я снова очутилась на улице. Лишь тогда боль оповестила меня о случившемся. И она тотчас же рванула по нервам. Я словно вернулась в реальность после долгого отсутствия. Ноги не слушались. Я рухнула на скамью. В мой кожаный сапог была засунута пачка банкнот. Моя боль никак не связана с этой платой. Я ненавидела во все не этого человека, а себя. Если мне и следовало исповедаться, то лишь потому, что я не могла держать это в себе. В последние часы внутри меня сложилась новая пугающая геометрия. Внутреннее пространство раздробилось, и я сидела среди осколков. Здание нужно перестроить, но было ясно: я больше никогда не наведу в нем порядок. Фундамент сдвинулся, стены растрескались.

Наверное, я отключилась. Очнувшись, услышала голос – меня допрашивали. Тон был бесстрастный, но озабоченный. Тогда-то я и сообразила, что нахожусь в полицейском участке. Я разговаривала с собой – бредила, но членораздельно.

Они решили, что я обращаюсь к ним; один все записывал. Зачем они протоколировали? Все мои страдания теперь были на виду. Его имя, рост, цвет глаз, тон, черная задрапированная комната, плетки, ремни. Все раскрылось, словно кто-то говорил в кино на ускоренной перемотке. Слова спотыкались, но истерики не было. Все выплеснулось из меня – как при экзорцизме. Я выговорилась, чтобы вновь стать легкой. Заново отстроиться на развалинах.

32 Человеку за столом мой рассказ, очевидно, нравился. Меня подмывало сказать, что он не вправе так пристально интересоваться моей историей. Я хотела просто рассказать и уйти. Но он был любопытен. Он тормозил мое повествование. Постоянно заставлял возвращаться, хотел знать, каким именно сексом я занималась и уверена ли, что действительно анальным. Я вдавалась в мучительные подробности. Если он выказывал недоверие, повышала голос. Я не терпела возражений, ведь я прекрасно знала, что случилось. Задрав юбку, показала красные и синие горизонтальные полосы, распоровшие кожу. Наступила тишина; она меня испугала. Похоже, они потеряли интерес к моей истории и сверлили взглядами меня. Хотели отвести в отдельную комнатку, но я отказалась. Избегала новой изоляции; моя задача – лишь восстановить ход событий.

Общаясь с ними, я поняла: со мной случилось непоправимое. А они молчали, поскольку не хотели меня тревожить. И я продолжала. Я была похожа на гремучую змею – погромок трепетал от злости. Мне хотелось, чтоб от моих слов оставались пулевые отверстия. Я рассказывала им то, чего они больше никогда не услышат. Будут другие случаи, вариации, но моя история не повторится. Не закончится, пока я дышу.

Меня отвезли домой. Я сидела сзади молча, как и перед этим, когда шофер вез нас по городу. Тогда я не проронила ни слова и сейчас тоже помалкивала. Улицы были темны и пустынно. Люди выходили из театров и кино. Над дорогой красным и голубым мигал неон. Накрапывал дождик. Фары ярким светом озаряли предметы, и те ромбами висали на черном фоне. Улицы были тусклы и нереальны, пока мы не добрались до той, где жила я. Непонятно,

как они ее нашли. Что привело сюда водителя? Хотелось попросить их развернуться, направиться в другой аррондисман, в квартал непроезжих переулков, но они были уверены, что прекрасно ориентируются. Один вышел и открыл мне дверцу. Похоже, он не замечал, что идет дождь. Капли головастиками плюхались ему на плечи и суетливо складывались в восьмерки. Я узнала свою улицу. Напротив – большой магазин; розовая шелушащаяся штукатурка на фасаде; львиные морды маскаронов; окна квартир с освещенной всю ночь лестницей; и та комната над моей – с задернутой темно-зеленой шторой. Кто там живет? Они никогда не появлялись. Мне придется прожить их повесть. Гулять ночами, бодрствовать и размышлять, глядя на прямоугольник окна, видеть, как над городом занимается день – красный на голубом. Это была я. Машина уехала, а я долго стояла на улице. Наверное, это была я. Я знала дорогу по лестнице на третий этаж. Поначалу свет еще горел, но внезапно потух.

- 34 Я решил, что проще всего – молчать. Если меня не слышат, можно сосредоточиться на внутреннем голосе. Замуровать и поймать в ловушку резонанс, словно муху, вибрирующую в паутине. Я изолирован камнем. Я – живой аммонит у него внутри. Если бы я перестал думать, сердце мое стучало бы, точно молот в стену. Я бы никогда больше не спал. Поэтому я и грежу. В камере вырастают тропические джунгли. Лиана превращается в зеленую змею, толстую, как ствол, и душит. В приостановленных, замедленных кадрах кошмара я наблюдаю, как клинообразный наконечник стрелы вперяется в меня. При соприкосновении раздвоенный язык пригвождает меня к дереву. Тело мое раздувается от яда. Ноги превращаются в распухшие кактусы, туловище вспучивается. Я похож на резиновый шар, бьюсь о жесткий камень.

Так я и пишу. Если другие открыто демонстрируют свои принадлежности: словопроцессор, ручку и бумагу, то для меня писательство – акт преступный, как сексуальные бесчинства, приведшие меня сюда.

Я пишу микроскопическим почерком на рулоне бинта. Длина его – около тридцати девяти метров. Ночью я туго сворачиваю его и прячу за камнем в стене. Роман, отдающий пылью, известью и плесенью заточения. В таком сжатии таится опасность. В этом длинном цилиндрическом пальце – вспышка взрыва, предвестника сексуальной революции. Я храню ее в тайне и живу по инерции. Дабы приспособиться к моей концепции сексуального словаря, потребуется создать новый биологический вид. В сексе может участвовать любой орган. Почему бы не глаз? Мужская психология визуально ориентирована. Возбуждение стимулируется зрительно. Предположим, мы могли бы занимать-

ся сексом глазами, вестибулярным аппаратом, нейронами, электронами, протонами, ферментами, ДНК и наружными органами: пупком, плечевым изгибом, трением спины о спину, жопы о жопу. Да как угодно. Под ногтями рук, ног. В области слуха, проекции чувства. Столько еще неисследованных зон сексуального соития – психического и физического!

До того, как попасть в Бастилию, я был другим человеком. Я всегда удовлетворял свои потребности. Мой голос повелевал, моим импульсам повиновались. Но за решеткой я лишился всякой власти и стал уязвим, как дитя. У меня отняли права человека. Со мной обходились так, словно у меня нет прошлого. Предполагалось, что мое могущество, доходы, сексуальная ориентация, эстетическая утонченность, ненависть к холоду, страх замкнутых пространств и привередливые гигиенические привычки – все исчезнет, едва я окажусь в заключении.

Я боялся сойти с ума. В темной камере выростала целая волна из крыс и прибором проносилась надо мной. Воздух был затхлый, я задыхался. Он был плотен, как конский волос. Разум бешено вращался, будто пластинка на неправильной скорости. Я рисковал утратить свою личность. Я перестал быть собой.

Я бредил. В галлюцинациях я видел просторные комнаты Лакоста. Мне казалось, если надолго закрыть глаза, а затем снова открыть, я перенесусь в другое место. Я просматривал на стене киномонтаж из событий своей жизни. Мне хотелось проследить, откуда начинаются все эти кадры, где их источник. Зачем мы проживаем то, к чему не в силах возвратиться? Одной этой разлуки хватит, чтобы сойти с ума. Я здесь, а все, что я знал, – где-то там.

После скандала в Марселе пришлось отправиться в изгнание, и я жил в Савойе, пытаюсь выследить свое преступление. Где оно? В каком участке моего разума или тела скрывается? За мной охотились из-за чего-то незримого, неосязаемого. Как только преступление совершено, оно ассимилируется воображением. Полиция собиралась арестовать меня за поступок, лишенный видимого выражения. Они решили обвинить меня в сокрытии улики, словно деяние

находилось внутри меня: так торговец наркотиками глотает кокаин в завязанном презервативе перед таможенным дозором. Я был отмечен незримым крестом. И разумеется, они пришли. Окружили дом в Шамбери и перевезли меня в грозную крепость Миолан на вершине горы. Необъяснимо, зачем солдатам и вооруженным полицейским понадобилось меня окружать. Они будто подавляли целый мятеж, хотя ждали одного меня. Эти люди ничего не знали о моей чувствительности, моем прошлом и моем предназначении. Они облепили меня, как мухи. Им хотелось увидеть мое унижение, дабы оправдать собственную ограниченность и несостоятельность.

Моя уязвимость усилила их ложное чувство солидарности. Из камеры я видел далекие Альпы. Пятна розового снега пылали на их вершинах в ярко-красных лучах заката. Необитаемые шпильки, остатки первозданного катаклизма – вселенского взрыва планетарных мегатонн. Никакого утешения – ни внутри, ни снаружи. Я писал письма. Подавал апелляции, молил о помощи перед неминуемой катастрофой. И пока я писал, опасность становилась реальной. Слова усугубляли положение. В каком-то смысле я случайно наткнулся на заклинательную силу языка. Слова пришли, когда опустели руки. Явились внезапно и затрепетали от моего прикосновения. Теперь следовало решить, что с ними делать. Они уже стали интуитивным ключом к разгадке моего будущего. Без них мой разум погрузился бы в хаос.

Я несколько не сомневался, что обречен на забвение. Мне сказали, что в силу характера моего преступления его невозможно оправдать. А французские власти обошлись бы со мной, как с цирковым медведем – пятнистым, неуклюжим мешком, в который тычут палками. С реальностью меня связывала только ярость, и я направлял ее на всех, кто приближался ко мне: на сардинские власти, начальника тюрьмы, на моего жилистого истощенного слугу. Я окунал в нее кончик пера. Слова мои жалили, как пчелы: шипастые, ядовитые, наполненные гневной взрывчаткой, вспламенявшейся в глазах читателей. Что еще оставалось, кроме как бичевать тех, кто выбирал за меня будущее, парализуя

меня самого? Так себя чувствует слепой пассажир машины, врезающейся в стену.

То, о чем я прошу, никто не готов понять. Позвольте прочитать вам отрывок из письма. Я не знаю, кто вы. Любопытный читатель – чистая случайность. Время, в котором вы живете, – ваше сугубо личное время. Нас объединяет лишь мучительное постижение того, насколько мы разъединены. Вы читаете это, а ваша жизнь проходит. Моя же замедлилась у голого обрыва, о который я обломал себе ногти.

37

«Вы решаете, что преступление, а что – нет, казните людей в Париже за деяния, которые высоко почитались бы в Конго: скажите мне, отчего нахожу я морские раковины на вершинах гор и развалины на дне морском? Вы утверждаете законы, требующие конформизма, но не понимаете, что миру необходимы и добро, и зло. Как вам объяснить? Это разница между светом и тьмой, равновесие. Нам нужно и то, и другое. Вы отказываетесь понимать различия. То, что отлично от вас, вы называете преступлением, но справедливо ли наказывать за деяния, обусловленные иной чувствительностью? Стали бы вы глумиться над слепым, высмеивать геев, бросать напалмовую бомбу в окно тому, кто умирает от СПИДа, преследовать бедняков, издеваться над уродами, толкать калеку под колеса? Ответом будет: ДА. Пытаясь защитить свои пагубные страхи и свою несостоятельность, вы караете тех, у кого хватает мужества прожить все, что вы подавили в себе».

Ненавижу холод. Не могу ни думать, ни писать в такую стужу. Кладя руки на трубы отопления, я понимаю, как глубоко врос в подтекст из чужих махинаций. Я лишен права мыслить или говорить за себя. За меня лгут другие. Они выдумывают мой голос и мои чувства. Подозреваю, у меня есть робот-двойник. Тут замешан инспектор Марэ – человек, которого ко мне притягивает неотступная, психопатическая ненависть. Можно избавиться от многих вещей, но самый опасный импульс – безрассудная, неуклонная тяга вредить. Вот в чем секрет единственной жертвы в час

пик. Никакого протеста – лишь моментальное осознание, что это должно было случиться.

Мать моей жены и этот человек, которому она платит за исполнение своих желаний, – следственная группа, что повсюду охотится за мной. Я в темноте, но они высвечивают меня, будто лазер. Они вызвали ночью полицию: сверкали фары, из машины высыпала свора головорезов.

38 Мне сказали, что жена пыталась сюда проникнуть. Она пришла в мужском платье, но не смогла обмануть охрану. Рене безрассудна. Она уверена, что никогда не найдет себе другого мужа, страшится того удушья, что влечет за собой жизнь с матерью, и жаждет эротизма, которому научил я. Поэтому она полностью зависит от меня. Она поклялась, что мать никогда не добьется своего, а после разоблачения писала гневные письма начальнику тюрьмы. Причиной отчасти был я сам: она отказывалась от любых альтернатив ради своей мономании.

Мне приходится бороться с апатией. Писательство и злость – полезные средства от уныния. Когда тебя впервые сажают в камеру, кажется, будто выхода нет. Стены слишком тесны: ночью сдвигаются в поисках добычи, а днем равнодушны. Но однажды ты начинаешь видеть сквозь них: камень прозрачен. Появляется дверь, за ней – изолированный пейзаж. Ты там бывал, но не надеялся вернуться. Цветущая вишня, будто непослушная розовая дюна, загоразивает дом, где перед зеркалом красится женщина в черном шелковом белье. Она сделает все, что захочешь, – только доберись туда. Она ждет тебя, но время у вас разное. В предвкушении она уже проводит красным ногтем по черным трусикам, заранее возбуждая себя. Дом так близко – пять минут пешком. Открытая дверь впускает позднее красное солнце. Женщина приготовила все: цепь, атласные перчатки, хлыст. Она жаждет, чтобы ты утолил ее страсть. Она делает длинноногое сальто. Ты знаешь, что можешь добраться туда. Просто сдвинь преграды, перейди из одного измерения в другое.

И вдруг я вырвался на свободу. Дверь между комнатой, где я обедал, и кухней, доступа куда не имел, была открыта. Все было устроено кем-то изнутри. Под окном спускался покатый склон. Едва я окунулся в иную стихию, в лицо

мне хлынул синий ночной воздух. Где-то в темноте стояли люди. Они вышли из тени. Возможно, их собрала ночью под деревьями какая-то сексуальная потребность. Впрочем, они мне служили: эти наемные убийцы будут защищать меня по дороге во Францию. Ночной воздух был холоден, и, вдохнув ледяную свежесть, я с изумлением осознал, что все происходит в реальности. Мы ехали верхом, пока не повстречали машину на приграничной дороге. Все молчали. В чаще на нижних склонах ухнула сова. От Миолана до границы недалеко, и к рассвету мы прибыли в Лион. Над спящим городом висело багровое небо. Я был свободен, но лишь в мыслях.

39

И опять все сначала. Никак не совладаю со своими потребностями – они сильнее меня и требуют внимания. Они путешествуют вслед за мной, а я – за ними: наши перемещения приводят к безрассудным, разрушительным поступкам.

А моя жена? Позвольте вернуться к ней. Да еще дети. Сын, который унаследует мои гены, мой нрав? Я собирался жениться не на Рене, а на ее сестре Анне, и обладал обеими. Это доводило до белого каления их мать – вечно злобную, лающую волчицу. Я хотел путешествовать с Анной и возбуждать в Рене ревность, которая бы вынудила ее принять самые неприятные из моих сексуальных пристрастий. Так и произошло. Она ждала меня с жадностью пантеры. Я завывал ей глаза, стягивал ноги ремнем над головой и имел ее во все дыры. Иногда приводил третьего, и он совокуплялся со мной, пока я совокуплялся с Рене. Мои отклонения возбуждали ее. Когда тебя пригвождает к кровати некий тип с криминальной репутацией, ты демонстративно отрекаешься от общественных амбиций матери. И хотя Рене знала, что я патологически ищу новых партнеров, это несколько ее не удручало. Она была добровольной сообщницей в тех деяниях, что поставили меня вне закона. Она выходила на улицу в мужской одежде и становилась сутенером. Таковую привычку мы завели в Париже. Надев золотые сережки, зеленый костюм, широкий галстук и белую рубашку, она домогалась прохожих вместо меня.

В одиночестве я задумывался, почему она усвоила столь чуждый способ самовыражения. Любовь всех нас меняет

до неузнаваемости. Поступала ли она так в угоду мне, или же я отвел ей эту роль, дабы реализовать нечто скрытое в ней самой? Двусмысленности неисчерпаемы. Рене боялась безраздельной родительской власти. Готова была ухватить льва за хвост, лишь бы избавиться от прошлого. Я не пытался уйти от телесного господства, но намеревался упразднить его принципы. Голосом моим вещает анархия, требующая перемен. Я начертаю кровью на своей рубашке:

40 «Весел лишь тот, кто смотрит в будущее».

Из Лиона я отправился в Лакост: «мерседес» пожирал дорогу, а ветер открывал во французских тополях голубые небесные просветы. Сколько это могло продолжаться? Я знал, что на меня будут охотиться: вскоре разнесется весть о моем бегстве. Но я отказывался вести себя, как беглец. Я был важной персоной и не хотел унижаться. В поле выпускали коров, и те выбегали на луг – детский рисунок с желтыми лютиками, белым клевером и чашей колючего чертополоха. Вдалеке, под голубеющим небом, стояла у обочины одинокая коза.

Когда тебя увозят за город, восприятие обостряется. Пред тобою вспыхивает целый мир, параллельный непрерывным эпизодам внутреннего диалога. Если смотреть из окна машины, ты находишься в двух местах одновременно, и оба реальны. Один раз я даже велел водителю остановиться, не совладав с желанием поскорее выбежать на луг. Я лежал в высокой траве и рыл руками землю, а резкий запах дикого чеснока бил в нос. Одна из тех минут – тех мелочей, что составляют жизнь.

Мой театр в Лакосте все еще не был достроен, но работы продвигались, и я мог инсценировать первую из множества попыток написать удачную пьесу. Рене готова была потратить свои доходы на архитектурные полеты моей фантазии. Я же хотел жить по слову своему: «В ебле всякий мужчина – тиран».

Я ждал лишь осени. Мне хотелось создать за стенами Лакоста замкнутую среду, как в соманском детстве, когда мой дядя-аббат закрывался в замке на зиму от всего мира и беспрепятственно предавался сексуальным утехам, которые придумывал для себя и своих друзей. Там-то я и уви-

дел молодого человека со вставшим хуем, испещренным рыбьей икрой, и девушек, что занимались сексом с двумя или тремя мужчинами одновременно. Ничто не тревожило домочадцев. Мы были оторваны от мира и страшились очередного прихода весны, розового цветения вишни и миндаля, пробуждения дремлющей общины, тушения огромных костров и нашего возвращения обратно к свету.

Мне хотелось возродить в Лакосте идею самодостаточной вселенной. Мы могли отгородиться полностью – нам было чем платить за молчание. Я начал с экспериментов над юношеской театральной труппой. Девушки в черных басках и черных подвязках разыгрывали одну мою пьесу, в которой мальчика засовывают в крокодилию пасть и там избивают. Эффект грубо сюрреалистический. Персонажи пьесы путешествуют на острова. Двое мужчин-кокаионистов в белых льняных костюмах сидят на корме лодки, переплывающей небольшой залив. Они смотрят в оба, зная, что причал скрыт густым лиственным пологом. Жарко, и команда раздета догола. В тот момент, когда...

Мне хотелось наяву пережить исчезновение из мира. Лакост должен стать центром по выведению новой породы. Со временем родятся дети, которые унаследуют лишь те качества, что пропагандируются моим учением. Будь у меня такая возможность, я поместил бы свой дом в самой неприступной точке мира. Сегодня, когда самолеты и машины избородили все непроходимые пути и открыли все невероятные пространства, место приходится искать внутри, а не снаружи. В эти-то шахты мы и спускаем кодифицированные системы, там-то и скрываем свои психосексуальные секреты, проживаем свои истинные импульсы.

В замке все было подготовлено к целой зиме непрерывного наслаждения. Ведя себя сдержанно, подавляя врожденную склонность к хвастовству и сохраняя абсолютную тишину в последние летние месяцы, я составил программу на будущую зиму. Местные жители толком и не знали, что я вернулся. Я сидел дома, писал да присматривал за строительством театра. В помещении постоянно находились рабочие – отличительная черта дома, что требовал непрерывного внимания.

Жена тоже иногда бывала здесь, однако надолго отлучалась. Начался сезон больших гроз. Полуденная голубизна сменялась свинцовым, а затем коричневато-багряным светом. Сразу после обеда нас встряхивал гром, отдаваясь эхом по всем окрестностям. Небо казалось окном, разбитым посередине. Двор курился под теплым дождем, превращаясь в липкую сауну, которая с шипением выпаривалась. Не припомню другого такого же лета: я вздрагивал даже от далекого гула машины на дороге, страшась возвращения грозы.

Я замечал по своему лицу, что старею, но потом забывал об этом. Секс был вулканический: он извергался, точно лава. Мой порыв невозможно было обуздать. В Лакосте разбили небольшой цветник, после внезапных ливней затхлые ароматы позднего лета – роз, левкоев, розмарина, тимьяна, лаванды – затопляли его хмельным благоуханием. Мне нравилось вдыхать этот насыщенный воздух: земля купалась в изобилии, и в виноградники вплетались желтая и красная ноты. Я пил вино, не беспорядочно, но пытливо вкушая солнечные лучи, хранившиеся в бутылке десять лет, пока ее не откупоривали. Лето, когда я видел, как набухали грозди, совпало с моим заключением. А теперь я вновь смаковал черный, пикантный букет своего уединения. В камере я научился жить в себе: так в баке живет зловонная вода. Не хотелось никого видеть – полное унижение. Я обнаружил, что писать – значит выдумывать мир, который иначе бы не возник. Неужели он нереален лишь потому, что воображаем? Ведь существует множество форм сознания. После одного фильма следующему зрителю показывают другой, и так далее. В черном солнце того лета я вкушал несправедливость принуждения. Я писал тогда памфлеты против любых законов, угрожающих индивидуальной свободе. Я расправлялся с ними, как нож, рассекающий шелковое платье. Я говорил о необходимости изучать чужую психологию, а не лицемерно отстаивать теорию иммунитета от преступлений. Кто из нас не скрывает свои причуды, надеясь, что тайна непроницаема? Я обличал правительства, олигархии, плутократии. Все равно что бросаться снежками в середине лета. Мои жесты испарялись. Словно зверь, я обдирал себе шкуру о прутья клетки.

Над головой снова накрапывал дождь. Уже показался огромный фуксиновый венец. Но на сей раз я не собирался поскорее отступать в дом. Хотелось дочиста отмыться от летних месяцев и подготовиться к осени. Я нуждался в абсолютной сосредоточенности. Мысленно я уже созывал избранных местных жителей в главный зал. Рене и моя сводница Нанон отберут их для моих любимых причуд. Ядро моей бригады – женщины и молодые люди, женственные и не знакомые с теми способами секса, которым я их научу. Мне также нужны были уроды – для напряжения – и две женщины постарше, сексуально опытные, для безудержных постельных трио, что периодически вызывали у меня катарсис. Меня прельщали их фигуры, отклики на мои просьбы, запреты и стимулирующие фетиши. Если они останутся, о них позаботятся. Я могу сострадать, только когда секс жесток. Едва прибыв, я осознал истинную природу своей личности. И порой я вынужден заходить слишком далеко, дабы исправить свое поведение.

Я взглянул вверх: теплый дождь сбивал с роз красные лепестки. Ритм замедленный, как у метронома, прелюдия к запоздалому потопу – бурному ливню, что вспыхнет искрой в сплошной стене прибоя. Затем поднялся пар, капли стучали по голове и плечам, неумоимо размывая пейзаж. Я смахнул с себя одежду и стоял голый, полусогнутый, хмельной и говорливый. Мне хотелось ощущать дождь так же, как его принимает земля. Я спешил навстречу осени, стремительно вычеркивая дни. Созревшая лоза будет моей, и кровь моя будет сцежена в секс. Я услышу, как волки сходят с вершин. И если однажды выйду и увижу машину, поджидающую на задах поместья, или слепую лошадь, что уставилась на дорогу, я пойму, что время пришло.

Я вернулся в дом, ободренный трением ливня о кожу. Я был возбужден. Мысли мои поплыли яркими тропическими рыбами в прозрачной воде. Я схватил полураздетую Рене, выгреб ее большие груди из полупрозрачного лифчика и, подняв со стула перед трюмо, перенес ее на кровать. Рене визжала и лягалась, она была в чулках. Перевернулась на живот, и черные трусики натянулись просвечивающей пленкой между мною и ее задницей. Я шлепал ладонью,

на щеках у нее выступила крапивная сыпь, а остальное вы знаете. Из-за этих занятий пришлось прятаться в собственном доме. Я наблюдал за грозами в зеркале. Ту ночь я провел в одиночестве. Я знал, что грядущая осень заведет меня в лабиринт еще дальше. Я слышал запах опаленной кожи и меха, едкую вонь дурмана; уже предвкушал ароматы совокуплений, страха, пота и наркотиков, что взвинчивали или успокаивали нервы. В ту ночь я помешался. Заперся и сидел, играя в гляделки с зеркалом, словно это – огромный кот. Один из нас должен был сдаться. Но на рассвете я по-прежнему горел от напряжения.

Когда той осенью их доставили сюда, а пейзаж окрасился в цвета лисьей шерсти, вывешенной для просушки, и весь район подключился к сбору винограда, я осознал цикличность своей жизни. Я буду продолжать, ибо другого выхода нет. Я прошел по бесчисленным коридорам, раскрывавая двери справа и слева, и обнаружил, что комнаты пусты. Я там не нужен. Вот стул, стол, случайные предметы, оставленные исчезнувшим человеком. Я вижу, как шагаю навстречу будущему, но лишь немногие попадут туда вместе со мной.

Запасы начали подвозить еще до перемены погоды. Подвозить не демонстративно, но регулярно, так что подвалы и холодильники заполнились на четыре месяца вперед. Я хотел, чтобы на сей раз изоляция была полной. В соседние деревни не просочится ни крупицы информации. Ни словечка. Грузовики сдавали задом во двор и разгружались. Не будет недостатка ни в чем. Раз уж я эксцентрик, извращенец и раз уж за мной охотятся из-за секса, тогда буду предаваться своим странностям в обрамлении, созданном по собственному вкусу.

По ночам, прислушиваясь к тишине в доме, я воображал себя на краю света. Заходил в театр и садился на сцене, устриваясь так, чтобы единственный красный софит отыскивал меня в темноте. В такие минуты я был счастлив. Надувные японские куклы заменяли задник. И здесь я мог разыгрывать психодраму, что неистовствовала у меня внутри. «Я – единственный представитель своей породы». Эхокамера, встроенная в акустическую систему, воспроизводила необходимый эффект литургического голоса. «Я – единственный

представитель своей породы». Искаженный голос возвращался ко мне. Здесь я мог обособиться и жить вне истории. Едва распознаешь окружающую лживость, она враждебно обращается против тебя. Статус-кво – одурманенный лев, пленник зоопарка. Его дряблые тестикулы обвисли. У него перерезана сонная артерия, и результат – импотенция.

Иногда я оставался в театре на всю ночь. Я писал или разыгрывал роли, которые придумывал для других. Так всегда бывало в тюрьме и за ее пределами. Меня вот-вот провозгласят вождем новой расы. Я действительно в это верил – в воздухе носилось. Осень и зима укрепят мои притязания. Но моя потребность в одиночестве усиливалась; я спал один, уклоняясь от заигрываний Рене. Что-то во мне набиралось сил. Я был неприкасаем. В крови моей вершилась революция. В снах меня постоянно преследовал человек, которого вели подземным коридором к стадиону – переполненному, залитому светом. Он должен произнести речь перед толпой. Он герой, которого мои недоброжелатели так упорно пытались уничтожить.

Первую неделю я не смотрел на новых домочадцев. Я знал, что шесть девушек и четверо молодых людей согласились провести зиму в Лакосте. Я их просто воображал. Так было легче. Если я хорошенько постараюсь, они материализуются точными копиями моих фантазий. И никогда не забудут меня. А вы – смогли бы?

В первую ночь я согласился встретиться с ними и стоял к их компании спиной. Обращался к противоположной стенке. Я хотел ясно дать понять, что никакие жалобы невозможны. Согласившись прийти, они сделались моей собственностью. Я хотел внушить им веру в обезличивание. Меня следовало считать не личностью, но потребностью. Мое имя нельзя при них упоминать. Если со временем они обратятся против меня, то обнаружат пустоту. К следующей весне замок обезлюдеет. Я могу уехать куда угодно, оставив минимум персонала для ухода за помещьем.

Рене и Нанон отлично поработали. Девушки – три блондинки, рыженькая и брюнетка. Мальчики женственны – не отличить от девушек. Я заставлю их красить губы и носить легчайший макияж «Шисейдо». Немного черного

под глазами, фарфоровая пудра на щеках. Иногда мне хочется зачать первого ребенка в мужском теле. Он стал бы идеальным преемником моего титула. По-моему, нет большего извращения.

И вот зарядили дожди. Я коротаю время за сочинением пьес и обобщением прошлого. Как совершенное нами изменяется настоящим? Когда слова воскрешают некое событие, оно всегда предстает иным. Словно мы проживаем
46 две жизни. Вторая оценивает то, что планировала первая, но ни одна не упрочивает веру в реальность.

По утрам я посещаю свой гарем. Это наводит на мысль, что я все-таки человек. Неделя проходит за неделей, и они уже почти соревнуются за определенные роли. Лишь причиняя сильную боль, чувствую я сострадание. Для того чтобы посочувствовать, мне нужно сломить. Потакание моим склонностям требует денег и влияния – и то, и другое у меня есть. Мое затворничество, очевидно, оплачено Рене, вымогающей деньги у родителей. Не в силах посадить меня под замок, они счастливы, когда я отрезан от остального мира. Они даже не догадываются о моих вселенских активах.

Ночью в своей темной комнате я переборщил. Лишь потом сообразил, что зашел слишком далеко. Вопреки, как будто всю ночь бежал во сне по улице, заканчивающейся тупиком. Я увидел то, что сделал, со стороны. Словно смотришь на персонажа фильма. Я переусердствовал с розгой: все ее тело исполосовано рубцами. Будто на коже отпечатались красно-сиреневые жалюзи. Когда ее развязали, она пыталась убежать, но из камеры, где я священнодействую, выхода нет. К тому же у меня по спине текла кровь. Я засек себя до оргазма. А теперь эта девушка вместе с остальными жалуется на беременность – можно подумать, от этого можно зачать.

Иногда я жалею, что не привез в дом тигра, леопарда или пантеру. Их присутствие отбивало бы желание удрать. Пока же я предлагаю гостям театральные представления для безумцев. Здесь можно созерцать реальные совокпления, наигранные диатрибы против общественных институций и наблюдать, как две фигуры ползают в мешках, надеясь отыскать дорогу к центру Земли.

Невероятно. Я спрашивал себя снова и снова, что же при- 47
тянуло меня к нему. Нам делали грязные предложения, а за-
тем мы отправлялись в Лакост. Нас не вербовали, не бро-
сали в грузовик и не свозили в бараки. Мы ехали, ибо
что-то внутри нас стремилось заявить о себе. Чтобы это
осознать, мне понадобилось время. Мы приезжали не толь-
ко из окрестных деревень – даже из Парижа и Марселя.
О нем разнеслась молва. И дело не в том, что он хорошо
или больше других платил за услуги; скорее, в том, что он
стал объектом поклонения. Нас зачаровывали рассказы
о его навязчивых фетишах, о заброшенном деревенском
доме и тонированных плексигласовых окнах автомобиля,
который, по слухам, водил трансвестит.

Мы слышали, что он обрек себя на одиночество, нару-
шаемое лишь кратковременными вылазками за границу.
Он был точно гроза, которая собирается лишь по краям
равнины. Мы не встречали его в гей-барах, но слышали
о нем. Его считали человеком весьма утонченным, хотя
и странным. У него были резкие перепады настроения.
Кто-то говорил, что он напоминает раствор, меняющий
окраску: капризный фиолет внезапно проясняется в осле-
пительно насыщенную жидкость. А затем его мания об-
ращалась к сексу. Так ли? Рассказывали всякое. Что он ко-
профаг и женоненавистник, импотент и некрофил, что он
одевается в женское платье и ебет коров в зимних стойлах.
Мы ничего не знали. Никто не знал.

Но мы знали, что нужно просто подождать, и со време-
нем он появится. У бара затормозит машина, и все взгля-
ды устремятся на нее. Сдержанность этого человека, его
кажущееся равнодушие к обществу; бутылка «Дом Пери-
ньон» покачивается в ведерке со льдом справа от него; его

взгляд постоянно возвращается к книге, раскрытой на столе, – все эти мнимые отступления лишь усиливали его безжалостную ауру. Он был так холоден, так неприступен, что, если бы хватило смелости, мы сами прыгнули бы в его паутину, точно мухи-самоубийцы. А он всегда изображал удивление. «Если ты сумасшедший, значит, ты этого заслуживаешь». Я уверен, что это сказал он, хотя, возможно, я обознался. Их было так много. Но, наверное, я услышал это от него. Все в нем было незабываемым. В минуты страдания он говорил, что следует жалеть людей с необычными вкусами. Они не виноваты – такими уж родились, и мы не выбираем сексуальные пристрастия, как и свою привлекательность или полнейшую заурядность. По своим воззрениям он намного опередил время и, наверное, по-прежнему опережает. В заключении он лицом к лицу столкнулся с деспотическим варварством. Наибольшее раздражение вызывали у него угнетатели. Беспомощный и оттого вдвойне уязвимый, внезапно оторванный от своих привычек, ведущий образ жизни, несовместимый с впечатлительностью, он утверждал, что система сама создает преступников, а обозленные тигры вгрызаются обществу в ноги, освободившись из-за решетки. Ночью он одиноко бродил по краю сцены в своем частном театре и изливал свои страдания, чаще всего – в громких, напыщенных, маниакальных тирадах. Казалось, будто его устами вещает кто-то другой, а собственное его дыхание лишь подстраивается к диалогу. Под конец он присвистывал, словно его сотрясала лихорадка.

Все, что я вам рассказываю, всплывает случайными обрывками по велению памяти. В своей жизни я ни с кем близко не сходил. Меня интересовала больше внешность, нежели ум. Своего отца я не знал. Нарекли меня Филиппом, в честь отца матери. Когда я вырос и научился отличать преобладающую страсть от бесцельных способов самовыражения, я осознал, что хочу создавать образы людей. Я неожиданно понял, что меня волнует одежда: мужской галстук, женский пояс, пуговицы на куртке, покрой рукава. Я рисовал все это, уделяя внимание причудливым деталям, которыми украшал свои модели. Я срисовывал с картинок

в книгах, каталогах и, в конце концов, стал придумывать сам. Мать не могла взять в толк, откуда я все это копирую.

– Не мог же ты это выдумать, – говорила она.

Но я выдумывал. А затем раскрашивал свои творения. Ярко-розовая куртка с черной рубахой, кремовый костюм с тельняшкой, кожаный пояс с лунообразной бляхой, алое болеро на голое тело, кольцевые серьги до самой талии. Мои импровизации всегда были сенсационными. Я рисовал женщин в бикини и черных перчатках до плеч, а мужчин наоборот – в черных шелковых шортах и длинных белых перчатках. Я трудился над чертежной доской и мечтал об ателье. Моими клиентами вначале были друзья, что стремились подать себя в обществе, молодые люди и девушки, мечтавшие о платьях, соответствующих внутреннему образу. Я шил короткие черные коктейльные платья из блесток; леотарды для моих кэмповых друзей; нижнее белье, навеянное каталогом мужских фетишей; щегольские шляпы для театрального артиста; и, что бы я ни кроил, все было новым, изобретательным и расчетливо привлекало антрепренерское внимание.

49

Свободное время я коротал в ожидании идеального незнакомца. Потому и забредал в бары. Едва открывалась дверь и кто-нибудь переступал порог, возникала тревожная неопределенность. Станет ли он тем единственным? Раскроется ли жизнь моя вымыслу, как только мы переглянемся? Наверное, так зарождается миф. Старая история обновляется, поскольку нет другой. Притяжение противоположностей, встреча тождеств – все одно и то же. Мы стремимся к раздвоению. Одна моя половина желает проникнуть в чужой мозг, четко проступить в его мыслях, подобно красному парусу на голубом небе, и, соответственно, я хочу, чтобы моя нервная система ассимилировала другого человека, хочу изучить его, как иностранный язык, и свободно на нем изъясняться. Я могу быть собой или им; мысленно провести его по улице голым либо одетым, отхлестать цветами или швырнуть в его изображение черную грозовую тучу ярости.

Время – вот чего я не понимаю. В каком столетии я живу? Замок Лакост был явью, и я до сих пор нащупываю кон-

туры шрама на левой ягодице. А эти модные фотографии? Их сделал Мэн Рэй, прославивший чужую альголагнию. Я многому научился у его моделей. Его представлению о губной помаде – «алом знаке доблести», как он ее называл: алой, бордовой или оранжевой интимной эмблеме – этой женской эротической печати и вместе с тем уступке клоуну, марионетке, миму, об этой маске, что важнее других внешних черт.

50 Какое время на дворе? У меня в студии трое часов. Одни показывают зеленые электронные цифры: 18.4.1772, другие высвечивают дату 23.5.1935, а третьи – 18.4.1992. Кто я такой, чтобы знать время? Подобно человеку, привезшему меня в Лакост, я столько всего пережил. Я приносил домой сирень под апрельским дождем; находил укоризненные письма, оставленные у моей кровати любовниками, которые обыскали мою квартиру и ушли; обнаруживал свое имя, написанное невидимкой. Тем Единственным.

По утрам я обычно тружусь за чертежной доской. Мэну Рэю крупно повезло, ведь Коко Шанель, Скьяпарелли, Пуарэ и Уорт были такими смелыми, каким невозможно быть сейчас, если не трансформировать снова их изначальные эскизы. А неподражаемые типажи Ли Миллер, Мерет Оппенгейм, Нэнси Кунар, Нуш Элюар, Пегги Гуггенхайм – белое лицо и темный изгиб губной помады, нарисованные карандашом брови, сигарета, удлинённая мундштуком, – изумительно подчеркивали стиль, нарочитую загадочность и скрытое оживление *femme fatal*. Эти женщины могли перемещаться во времени. Они красили веки и носили на лодыжках нефритовые браслеты – в эпоху фараонов; атлас, в три раза тяжелее их тела, – во французском восемнадцатом столетии; а современницы Мэна Рэя – невесомые тени шелковых чулок, прозрачный аквамаринный шифон неглиже. Всякая мода диктуется фетишем. Одежда будит фантазии, которые так редко воплощает нагота. И я творил, помня об этом: выделял идеальную фигуру и совершенствовал ее путем явной провокации: женщина с золотыми блестками вместо бровей; сигарета свисает с пурпурных губ; целлофановая юбка прозрачной персиковой кожурой обтягивает задницу. Моя мужская модель позировала в кожаной кепке, «удавке»

со стразами и черных резиновых трусах с двумя вырезами в форме цветов, сквозь которые видны ягодицы. На ногах у всех моих моделей черные ногти чередуются с золотистыми. Это касается как мужчин, так и женщин.

В тот день, когда я отправился в Лакост, свет позднего лета – сенного оттенка – обернулся дождем. Я никуда не собирался в тот день, но мне отчаянно хотелось чего-то невыразимого. Будто все нервы всплыли на поверхность, напоминая о себе электризованными точками. Он просто сидел, читал, писал – безразличный, но в центре внимания. А я прикидывал, чем его шокировать. Достать из кармана помаду и накрасить ему губы, спародировать его аристократические манеры и малодушный, в сущности, характер? Он казался уравновешенным, но одновременно замышлял бесчинства. Что он за человек? Я хотел добраться до самой его сути. Он не был мужчиной моей мечты, который будет писать мне длинные письма зелеными чернилами, присылать ароматизированный чай из «Марьяж Фрер» на рю де Гранд-Огюстен, 13, или приносить духи «Пату», завернутые в черную гофрированную бумагу и перевязанные пурпурной ленточкой. 51

Я сидел за его столом, развязно подбоченясь, и размышлял над тем, что молодость – это суверенное право, белокурый апофеоз, отраженный голубым зеркалом осеннего озера. Я не думал, что он заговорит, но чувствовал в нем целую пространственную архитектуру, запутанный лабиринт познанных и исследуемых вещей, что отступили в точку, с которой даже он утратил контакт.

– Филипп?

Ему хотелось знать, где я родился, кем воспитывался, где живу сейчас. Есть ли у меня родители? Убежал ли я из дома? Несмотря на неумолимое высокомерие, в его речи сквозила нервозность. Он напоминал человека, чья вина раскрыта, и он обходился со своей потребностью весьма осторожно. Я заметил, что он никогда, даже если пил, не снимал серую шелковую перчатку, обтягивавшую ладонь. Этот человек был привередлив (я познал так много причудливых повадок): он чрезвычайно потакал своим желаниям и отмежевывался от собственных зверств, отка-

зываясь от соучастия. Он всегда оставался наблюдателем и созерцал свои действия столь отрешенно, что их реальность ослаблялась. Вероятно, вы хотите спросить, дошел ли я до этого интуитивно или уже задним числом. Какое время на дворе?

52 Тот день был вне времени. Мужчина сказал, что этот его визит в город может оказаться последним, а затем он вернется к своим привычным осенним занятиям. Он сказал мне:

– Я открою тебе великие истины; люди будут прислушиваться и задумываться над ними. Хотя против многих восстанут, некоторые все же останутся. Ты увидишь, что я внес вклад в психологию.

Помню, свет на улице был неяркий, синевато-серый, и грозное небо вихрилось на манер импасто. Я понимал: он хочет, чтобы я был готов поехать с ним хоть на край света. Он уверял меня, что при желании можно покинуть Париж всего лишь на выходные – его шофер отвезет меня обратно в город. Он предчувствовал, что я испугаюсь, и это совпало с моими опасениями. У меня были клиенты. Я раскраивал бархатное болеро, придумывал золоченую шляпку для кабаре и составлял новаторские костюмы – они уже пользовались спросом.

Бывают минуты, в которые мы входим так полно, что становимся частью сознания. Мое решение стало разрывом в фильме времени – паузой, при которой катушка останавливается. С врожденным чувством стиля я накинул черную кожаную куртку и залюбовался барным зеркалом, светом, струившимся на середину комнаты, одиноким блюзовым саксофоном с пластинки, голосом, что вступал новым регистром боли, – все время сознавая, что остановил настоящее. Эта сцена будет возвращаться ко мне снова и снова. Кто я? Некто вышедший из бара и преследуемый воображаемой музыкой, что сопровождает любые важные решения. Разумеется, машина уже ждала. Она была отполирована до иссиня-черного жучьего блеска. Можно было даже подкраситься, глядя на свое отражение.

Я не очень-то испугался – я наблюдал за человеком, который подбил меня покинуть столицу. Его глаза жадно

вбирали все. Ничто не ускользало от его взгляда. Он словно просидел долго в клетке, а теперь открывал для себя зрительные мелочи: спиральный зигзаг волоса, приставшего к моей рубашке; яркий пигмент на крыле бабочки-парусника, что напоминает разбрызганный мотив на женском зонтике. Его кисти в перчатках сцепились, как лапки богомола. Похоже, прикосновение шелка к плоти бесконечно возбуждало его. Даже руки его складывались в сексуальные фигуры, причудливую геометрию неудачных соитий и нарочитых уродств. Несмотря на мнимую сдержанность, когда он сидел, примостив голову на красной кожаной обивке, он был всевидящим, словно многоочитый павлиний хвост. Позже он рассказал, что самым ясным зрением обладает его пенис – слепой глазок, обученный зорко видеть даже в темнейших проходах. 53

Поначалу он почти не разговаривал. Упомянул о доме по ту сторону реки, где-то рядом с Люксембургским садом. Мы не должны были там останавливаться; он спешил вырваться из города, испытать лихорадочный шок багряно-желтых лесов в цветущей линьке умирания, избавиться от полицейских, олигархии, информаторов. Шампанское все еще играло у меня в голове, а комфорт машины склонял мою гравитацию к роскоши, и я стал фантазировать об отношениях с этим отверженным, одиноким человеком. Я был убежден, что он не таков, каким его расписывают. С человеческой точки зрения его осудили за бесчеловечность. Он понимал, что его сексуальные наклонности – большая редкость. В его поступках таилось грядущее, которое только он мог воплотить для других. Его тело было инструментом, настроенным на сексуальный мистицизм. «Вполне разумно считать свои желания мерилom истины», – напишет он мне позднее. Он мог проследить семисотлетнюю историю своего рода – его гены, говорил он, отображают бурный ход времен. Порой он слышал, как в голове скачут кони, а люди проклинают, клеймят, на коленях молят о помощи или отрицают цель вселенной. Люди, сраженные в юности или же в старости, выкрикивают поношения в пустоту звездного пространства.

Мы ехали предместьями. Главным образом, в 1992 году – если судить по одежде. Женщина в черной кожаной

мини-юбке и красной, как губная помада, куртке; мужчины в джинсе – темно-синих или черных куртках и пастельных брюках. Одежда притягивает мое внимание. Этот человек, что сидел рядом со мной и составлял пальцами узор из мыслей, перекидывал мостик через столетия. На излете фразы он мог перепрыгнуть на три века назад. Сказал, что жил «без воздуха, без бумаги, без чернил – вообще без ничего». И все же то была психическая реальность – чувство беспощадного лишения, неотступного преследования, паранойальная реакция на то, что за тобой шпионят, следят в дверной глазок, снимают мерку для смирительной рубашки и бинтуют костяшки после множества ударов о гранитную стену. Неважно, в какое время живешь. Все мы стремимся к асценденту, с которым никогда не пересекаемся. Боль нельзя выразить количественно – так же, как наслаждение или извечные вопросы о смысле жизни и смерти. Есть некие неразрешимые абсолюты, что позволяют нам перескакивать через века, словно переходя по камням быстротечную реку.

Я должен был представить себе, куда еду. Я мог очутиться где угодно. Часто после танцев в ночном клубе, когда я соединял ладони и губы с мужчинами, встречаясь взглядом с зелеными или голубыми глазами во всей их уязвимости, меня отвозили на рассвете в какой-нибудь дом. Доверие было обоюдное. Я никогда не боялся, что выйдет как-нибудь не так. Я видел множество домов, которые выскакивали на меня, пока автомобильные фары освещали белые фасады, лестничные пролеты. Неподалеку в купе кобальтовых кустов можжевельника ухала сова.

Что я помню? Все – и ничего. Мужчин, искавших любви, чьи губы распускались розами или, наоборот, сжимались: тонкогубых, одержимых фетишем. Одни хотели, чтобы их массировали с ароматическими маслами и целовали по прямой от затылка до зада; другие – чтобы над ними надругались, оскорбили в соответствии с их идеалом самоунижения. Был один, которому я придумал целый гардероб костюмов, – у него вся спальня была завалена мужскими куклами. Они выделялись, подобно заклепкам на черном латексе. На каждой был яркий парик, и волосы экзотичес-

кого рыжего либо голубого цвета резко оттеняли смуглую кожу. И каждой кукле он давал имя. Меня познакомили с Роланом, Энди, Грегорио, Блон-Нуаром – этим аляповатым особам подошли бы любые имена. Вот кто населял его реальность. На некоторых – шелковая или кашемировая одежда, которую я придумал для своего клиента.

Сколько было рассветных встреч! Я просыпался голый, не считая синего шелкового галстука, свободно повязанного на шее, – фантазия моего спящего партнера. И сразу начинал работать: набрасывал в блокноте эскизы и придумывал экстравагантные цветовые сочетания, которые собирался включить в весеннюю, летнюю и осеннюю коллекции своих преданных клиентов. Я никогда не работал зимой, неизменно пропуская этот суровый, бесцветный сезон. 55

Немного спустя я уже точно знал, когда он заговорит. Он нарушал тишину с такой регулярностью, что меня это беспокоило. Казалось, он прислушивается к своим мыслям и проясняет их сложный ход, слушая кого-то еще. Был ли он глух? Возможно, после многолетней тишины в тюремной камере его уши окаменели? Я слышал, а затем удостоверялся на опыте, что он жил зрением. Он хотел видеть свои мысли, точь-в-точь как переживал секс. Видя и будучи видимым.

Быть может, он принимал меня за уличную дешевку? Очередного парня, снятого в баре, мальчика-проститутку, что ищет пристанища, прикидываясь, будто связан с миром моды, искусства, шоу-бизнеса. Я уже находил недостатки в его одежде. Его оранжевая шелковая рубашка чересчур жала; темно-серый костюм тоже натягивался, и покрой был слишком строг; но шелковые парадные перчатки добавляли тот необходимый женственный штрих, что выдавал его интерес к фетишам и обоим полам, ведь обостренная чувствительность обычно присуща бисексуалам.

Я плыл по течению и думал: может, надо было остаться в городе? Нам пришлось сбавить скорость из-за похоронного кортежа: три или четыре черные траурные машины тянулись вслед за степенным катафалком. В ближайшей я рассмотрел женщину в жемчужно-сером костюме и шляпке, склонившую голову на руку в перчатке. Другая женщина

пыталась ее утешить. Миг чьей-то жизни, не предназначенный для наших глаз; один из тех эпизодов, что оставляют глубокий след в нас самих.

Он рассказывал о Флоренции:

56 – Там я был другим человеком – взял себе имя графа де Мазана. Мы ехали трудной дорогой в предгорьях Альп: пытаюсь уйти от погони, я избрал очень опасный путь, и жители окрестных деревень божились, что моя карета – третья, которую они видели за последние двадцать лет. Оттуда мы проникли в Савойю, быстро миновали это герцогство и направились в Италию. Меня преследовала полиция. Я рассказываю тебе об этом, поскольку в твоей жизни – в тех барах, где она протекает, – полиция на каждом шагу. Осведомители, провокаторы, шпики. Побегом я лишь усугубил свое положение. Мы остановились переночевать на ферме, и мне оказали чрезмерное гостеприимство: так бедняки обходятся с несомненно состоятельными людьми. Возможно, ты слышал, чем закончилась эта история. Там была белокурая девушка лет восемнадцати. Я пленил ее: когда смотрел ей в глаза, она обо всем забывала. Я повторил эксперимент несколько раз, и это утверждение моей власти вызвало у нее покорность. Я смотрел, как она примерзает к единственной мысли, будто ледовый ореол кристаллизовал одно понятие, исключив все остальные. Той ночью... Зачем я тебе это рассказываю? Она раньше не ведала о таком сексе. Она испытала экстаз и отвлечение разом. Но пронесся слух. Не оставалось даже времени на ночлег. Я боялся, что меня в любую минуту догонят и арестуют. На что только ни уходит жизнь! За нами охотятся из-за идеи, вынужденной стать действием. Но как арестовать идею? Для этого нужны шпионы за мыслями, медиумы, способные улавливать образы и понятия, что сохраняются в клетках памяти. В нынешнем столетии Сальвадор Дали выдвинул теорию мозговой камеры...

Он немного помолчал. Наверное, прикидывал, как я реагирую на его личные мании. Неужели и впрямь так важно, что я – Филипп? На моем месте мог оказаться любой. Я не верю, что он когда-либо занимался сексом с партнером, а не просто проецировал свои фантазии на анонимное тело.

Скольких моих клиентов возбуждали куклы, роботизированные манекены, ледяное соитие на видео!

– А во Флоренции меня больше всего возбуждала «Венера» Тициана в Палаццо Медичи. Я упивался красотой ее ягодиц. Женщину я вижу только так – сзади: перевернутый образ ее родящего тела. Столь же важна для меня была восковая модель девушки, которую можно вскрыть, будто на уроке анатомии. Наверняка ты не читал роман «Жюстина», в котором хирург препарирует живую девушку. Роден? Да, так его звали. Книга осталась курьезом. Она слишком длинна и не способна безраздельно завладеть вниманием. Я написал ее, чтобы чем-то себя занять – заполнить свои дни сексуальными изувательствами... В 1992 году людям читать некогда. Я пришел к такому заключению, перескочив через три столетия. Человек, пишущий книгу, живет во времени, совершенно отличном от времени читателя: они никогда не пересекаются. Физический акт писания, прохождения стольких страниц, вечного движения вправо, так быстро потребляется читающим глазом... Но к чему докучать тебе всем этим? Что если бы я сознался в убийстве? Ты попросил бы высадить тебя у ближайшего светофора? При экстремальном сексе никто не знает, каким будет результат. Я оставлял после себя сцены, напоминавшие погром. И я вижу, Филипп, что ты – человек особенный. Ты готов доверять мне. Ты направляешься в Лакост – его каменные стены обрели цвет крови. Замок стал красным. Представляешь? Багровый дом под синим ночным небом с метеорами, что падают в пустоту, отращивая хвосты и плавники.

К тому времени я уже смирился с тем, куда мы направлялись. Я постоянно сравнивал его физическую силу со своей. Этот человек казался слишком хрупким и сосредоточенным на внутреннем монологе: разве таков пресловутый извращенец, чье имя гремело среди обитателей парижского дна? Никто не требовал с него платы – небывалый случай для мальчиков-проституток и трансвеститов, околавившихся на Пигаль. Знакомство с этим человеком, сидевшим напротив, придавало тебе вес. В клубах молодые люди гордились тем, что переспали со зверем. Ставил ли он свою

метку? Оставались ли шрамы от плетки навсегда? Виднелись ли на ягодицах десять ожогов от кончиков его пальцев?

Сексуальные мифы вырастают из потребности, что разгорается вместе с желанием. Одна трансформация ведет к другой. Я видел мужчин, занимавшихся сексом в гробах, и бондажные комнаты, где голые тела опутаны цепями. А этот человек? По слухам, он творил что-то неопишное.

58 – Единственная настоящая книга – это книга, которую нельзя опубликовать, – говорил он позднее. – Мы пишем ее на своих нервах и каждую ночь хороним в подсознании, но никогда не облакаем в материальную форму. За эти записи любой из нас мог бы угодить в сумасшедший дом. Но, похоже, они как-то умудрились прочитать отрывки из моей книги. А может, мое поведение облегчило чтение некоторых глав.

Наверное, я заснул. Очнулся в сумерках. Свет фар стелился по дороге длинными белыми щупальцами. Летучие мыши со свистом кружили над полем, где виднелся силуэт каштановой кобылы, склонившей голову к траве: черная грива опускалась, будто ночь, на сгорбленную тень. Мы могли быть где угодно.

Когда я взглянул на него, он был по-прежнему бодр и оживлен. Его шелковистые пальцы тщетно пытались успокоиться: игра в «кошкину колыбель», пляска двух переплетающихся пауков. Он продолжил свой рассказ, словно в нем не было никакого перерыва.

– Меня преследуют зимы. Часто кажется, будто за мной охотятся твари из ледникового периода – мамонты, ледяные монстры в полицейских мундирах. Все зимы моей жизни – точно глыба черного льда, что с гулом катится по горному склону в ущелье. И во сне я стою на этой глыбе. Не могу сдержать ее нарастающую инерцию. Головокружительно опрокидываясь через край, я либо просыпаюсь, либо взрываюсь вдруг алой птицей – кожистой рептилией, что в замедленном движении взмахивает крыльями над пропастью. Если метафорически умереть во сне, можно пережить трансформацию и наяву... Но вернемся к значению зимы в моей жизни. Они приходили и уходили – эти желтые осени, заставившие меня в Лакосте. И сей-

час мы устремляемся навстречу новой. Скорость искажает любые представления о прошлом. Я жил и живу, а ты стал моим спутником. Оглядываться назад – все равно что пытаться сжать ветер в кулаке. Но у меня было чувство стиля и непревзойденный вкус к сексуальным фетишам, – жизнь, воссоздаваемая мною каждую осень... Еще час, и мы прибудем в Лакост. О чем тебе рассказать? О налете? О том, что они раздели мои комнаты, будто шлюху? Моя символическая сущность была гневно осуждена, поругана, выставлена напоказ. Я напоминал рыбу, что стала прозрачной в кристальной воде. Мой замок разграбили мародеры. В личном кабинете они обнаружили замысловатый фриз, изображавший постановку клизмы. Когда они носились по моей спальне, слышно было, как воздух расходится по шву, словно разрывается шелк. Они проникли туда через лабиринт – подземные проходы, отгороженные бу-тафорскими дверями. Я использовал их вместе с зеркальными ширмами, экспериментируя с дезориентацией. Тебя трудно шокировать, и значит, я могу продолжать. Так или иначе, они увидели непристойные фрески, которыми я велел украсить комнату. Я запомнил каждую деталь, каждую панель... На одной вообще не было туловищ – лишь мужские и женские ягодицы во всей красе. Я хотел, чтобы их эрогенные зоны развоплотились – так я мог сосредоточиться на обезличенном субъекте. Тогда я учился концентрироваться на половом акте, дабы ничто меня не отвлекало. Эти фрески, уничтоженные незваными гостями, изображали все виды секса. Там была спина, усеянная красными головастиками крови; кляп, завязанный на затылке; двуполое существо, занятое поркой, в то время как его щекотал павлиньим пером третий участник. О самом страшном я умолчу. Мои хулители не понимали, что хореография секса подразумевает артистизм. Как балет или пантомима. Необходимо управлять внутренними и внешними реакциями. Мне нравилось раскрашивать жопы. Одна половинка черная, другая – золотистая, и большие красные сердечки на обеих. Я стремился вызвать экстаз, какого ни один партнер не испытывал прежде. И порой они поддавались. Кончая, я переставал быть

собой, куда-то уносился. Через свод черепа отправлялся в дальнее странствие к звездам... Когда я закрываю глаза, в памяти оживает эмоциональная глубина той скатологической живописи, что так меня увлекала. Ты должен понять, что думал я только о сексе. А это означало воссоздание человеческого тела по моему желанию. Едва берешь на себя роль творца, становишься Богом. Живопись была попыткой создания новых сексуальных отверстий.

60 Например, кто-то может заниматься любовью через ноздрю... Оставляю тебе простор для фантазии... Комиссия по общественной безопасности вознамерилась защитить тех, кого я использовал для своих экспериментов. Возможно, ты и не поймешь, но мне пришлось глубже уйти в себя. Путешествие внутрь стало моим избавлением. Там я нашел тайное убежище – еще лучше, чем тщательно продуманные комнаты Лакоста. Я ушел так непостижимо далеко, что, возможно, очутился в самом центре Земли. И там стояла тишина, какой я прежде и не представлял. В этом тихом центре я мог делать что угодно. Я познал все формы воображаемого удовлетворения, и то, что я вершил на внутреннем уровне, обладало почти физической реальностью. Из-за путаницы между этими двумя планами я и попал в беду. Тебя могут арестовать за то, что произошло внутри, убедив, что это случилось на физическом уровне. А как только признаешься в раздвоении личности, тебя объявят параноиком. Попробуй рассказать мне, что было с тобой вчера, сегодня или минуту назад. Для начала придется отделить мысли от действий, а под давлением это всегда трудно. Едва они добрались до меня с другого конца, я обезумел. Признался в том, чего никогда не совершал физически. Ведь многих по-настоящему удовлетворяют лишь сексуальные фантазии. Попроси любого человека описать его сексуальную жизнь, и окажется, что главные ее события связаны с самоудовлетворением... Превыше всего я ценил свободу. Одного из моих следователей звали мсье Ленуар*. Оцени черный юмор. Я помешался на нумерологии. В моем мозгу была установлена сложная,

* От фр. *le noir* – черный.

компьютеризованная числовая программа. Почти любые случайные совпадения я объяснял сопряжением цифр. Я до сих пор помню целые умозаключения, которыми иллюстрировал свою формулу. «Связь, которую вы устанавливаете между числом 13 и изменой, доказывает, что вы обманули меня 13 октября 1777 года». Или: «В этом письме – 72 слога, соответствующих 72-м неделям моего заключения; в нем 7 строк и 7 слогов, что в точности совпадает с 7-ю месяцами и 7-ю днями, которые миновали с тех пор, как...» Одержимость, но не только. Моя система кодировки уже совершила квантовый скачок в другое столетие. 61
Наше столетие? Сегодня я принимаю на веру показания спидометров и электронных часов. Мне нравится думать, что распечатка моего разума как-то скоординирована с этой системой. Мы приближаемся к месту назначения, просто сидя здесь и опустив голову на подушку из мягкой красной кожи. Сегодня, для того чтобы путешествовать, необходимо расслабиться. Сидя в крысиной норе тюремной камеры, я вычислял время путем осознания внутреннего пространства, и, в конце концов, представление о пространственно-временных отношениях исчезло. Я попал куда-то еще. На самом деле, я издевался над своими фантазиями. Если тебе снятся сны, Филипп, возможно, ты иногда просыпался беспомощным. Во сне что-то случилось непроизвольно, независимо от тебя. Но я зависал между ониризмом и явью. Видя сон или грезя наяву, я пробуждался в конвульсиях, изнуренный, и руки мои все еще обаграла кровь. Мне удавалось входить в физический контакт со своими иллюзорными жертвами. Я размахивал длинным кнутом, заковывал тещу в кандалы, буйствовал посреди гарема флагеллантов. Одна голая жопа за другой – и ни одна не приносила успокоения.

Его речь навевала дремоту, но моя восприимчивость была поразительна. Я ничего не упустил и, похоже, запомнил каждое слово. За окнами машины стемнело. С дорогой нас связывал лишь свет фар. Мне хотелось в Париж, но в то же время возбуждала возможность раскрыть в себе новые области ощущений. Он сказал, что ехать осталось всего двадцать минут, и продолжил свой монолог.

– В чем только меня ни обвиняли. Что там сказал Мишле о кровавых зверствах герцога де Шароле? «Il n'aimait le beau sexe qu'a l'état sanglant»*. Я прибежал к афродизиакам, ну и что с того? Ты, наверное, слышал о кантаридах – мнимом афродизиаке «шпанская мушка». Он раздражает мочевой пузырь. Щепотка этого снадобья, спрятанного в шоколаде, свела Маргариту Кост с ума. Правда, не в смысле сексуального влечения. Она страдала от судорог и кишечных спазмов. Но то было в другое время, в другом месте. За мною охотились. И даже теперь, мчась в «мерседесе», я опасаясь, что меня догонят, предчувствую, как полуденная горизонтальная тень тополя станет вертикальной, отрастит лицо и руки. Что враг начнет допрашивать меня о прошлом, которого я никогда не смогу отрицать. Кем я был? Донасьеном-Альфонсом-Франсуа де Садом. Кто я теперь? Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад. Сын графа де Сада, шевалье-граф де Лакост и де Мазан, сеньор де Соман, королевский наместник Верхнего и Нижнего Бресса, Бюже, Вальроме и Жэ. Известность, которая помогала мне и вредила. Трагедия в том, что невозможно рассказать о своей подлинной жизни. Никто не поймет. Я писал, дабы убедить себя, что существую, и в итоге усомнился в собственной значимости. Кто автор книги, есть ли у нее вообще автор? Я бы сказал: никто. На пике творчества, при глубочайшем погружении в сексуальные фантазии я словно лишился права собственности. Моя рука двигалась по странице сама. Она писала, а я следил за ее движением. Слева направо, слева направо – без перерыва, по три-четыре часа подряд. Вот почему писательство ближе всего к умопомешательству. Нет никакой видимой или осязаемой связи между пишущим и его темой. Процесс даже не подразумевает умозрительного удовлетворения, как при мочеиспускании. А в сексе я этой функцией не пренебрегал. Я мочился в пронзенные анусы... Что бы я ни сказал, это не убедит тебя ни в моих достоинствах, ни в моих недостатках.

Мы въехали в бурю с градом. Я слышал, как лед долбит по крыше машины. Она тряслась, как барабан, белые шары

* Он любил прекрасный пол, лишь когда тот был окровавлен (фр.).

ки отрывисто и мстительно молотили по металлу. Стаккато отвлекло меня, и план сменился. После своей маниакальной исповеди этот человек умолк: такой его жизнь была прежде, а вот такой стала теперь. Машина въехала в аллею – пространства слева и справа свернулись. Фары отбеливали дорогу, плотно обсаженную кипарисами и тополями. Должно быть, ветер запутался в их высоких кронах.

Машина остановилась перед зубчатым фасадом укрепленного замка. Фары горели еще миг, затем потухли. Пока мы шагали по гравию, я позволил надеть на себя наручники и почувствовал, как они защелкнулись на одном запястье и впились в другое. Я не сопротивлялся, отказался от свободы, будто всегда знал, что меня об этом попросят, от меня этого ждут.

63

В холле пахло сумраком, неотделимым от истории. Казалось, все в моей жизни сложилось именно так, чтобы я очутился в этом месте, которое очаровывало и в то же время отталкивало меня. Мой дизайнерский взгляд неустанно заполнял мрачные обертоны цветом. Служанок я облачил бы в кожу и шифон, их короткие юбки едва прикрывали бы ягодички, а мальчиков-пажей я представлял в леотардах со стразами. На самом деле они были поголовно одеты в черные балетные трико и топики. Когда развернулись, я увидел сзади вырезы, в которые виднелись припудренные, нарумяненные попки. То был ежедневный ритуал. Эти мальчики и девочки должны были красить свои жопы регулярно, как женщина – лицо.

Я стоял в зале, а де Сад опустился на колени, дабы поцеловать ягодички бесполого белокурого мальчика. Не понимаясь с колен, схватил девушку с томатными волосами и начал водить языком по ее щели, а она застыла, точно статуя. Безусловно, его гарем привык к такому обращению, и оно уже стало обыденным.

Меня провели по коридорам в мою спальню: на ее белой двери был нарисован эрегированный пенис, входящий между пышными половинками гурии. Комнату подготовили. У черной атласной кровати стояла небольшая лампа с зеленым абажуром, и я должен был переодеться. Пришлось облачиться в трико с вырезом на спине, серебристый топик

с фамильным гербом де Сада вместо лого и серебристые туфли на высоких каблуках, подчеркивавших походку. Меня прельщала мысль о том, чтобы стать педиком, шлюхой – очередным творением, которое отвечало фантазиям этого человека о замке Силлинг с его отвесными скалами, вздымавшимися до самых облаков. Мебель тоже была выкрашена в черный. У меня возникло жутковатое ощущение, будто мы находимся так высоко, что если отдернуть шторы,

64 можно опереться взглядом в тучи, плывущие по небу с головокругительным наклоном, как в иллюминаторе самолета.

Посвященные в сексуальные обряды де Сада носили серебристо-черное. Меня оставили одного – поразмыслить над своим положением. От Парижа меня отделяли сотни световых лет, а наша поездка казалась нереальной, как переход от детства к осознанию того, что ты уже взрослый. Что-то сместилось. Ребенок повзрослел в стихийном порыве, преодолев время и пространство. Я ощупывал свое лицо. Нужно было хоть за что-то ухватиться. Угловатая скула, черепной шов, контур нижней губы. Я должен был изучить себя, ведь скоро мне велят отказаться от индивидуальности ради коллективной одержимости анонимным сексом.

Неужели я по-прежнему Филипп – парижский дизайнер моды, подающий большие надежды? Тот, кто однажды выведет на подиум длинноногих моделей? Тот, кто прославился искусными экспериментами? Способный одеть женщину в три стратегически размещенные блестки? Пережил ли я переход? Стану ли очередным автоматом в сексуальном цирке этого человека, в параде тапеток перед извращенцами?

У кровати лежал лист бумаги с датой: «Бастилия, 8 марта 1774 года». Я взял его и прочитал:

«Вы знаете, что моцион для меня важнее еды, а здесь моя комната меньше той, что была у меня прежде. Негде развернуться, и меня лишь изредка выпускают в узкий двор, провонявший запахами кухни. Меня выводят под штыком, будто я совершил покушение на Людовика XVI. Они заставляют человека презирать великое, придавая значение мелочам...»

Больше я ничего не успел прочитать. Служанка постучала в дверь и велела проследовать в зал. Я был вынужден повиноваться. Туда вел нескончаемый лабиринт коридоров, и я шел по ним, как автомат, за голым накрашенным задом девушки, которая, возможно, прожила здесь столетия. Она была совершенно бесстрашна – ни намек на сестринские чувства. Ноги ступали независимо от ее воли. Изредка справа или слева открывалась дверь, испуганные глаза показывались на долю секунды и тотчас исчезали во тьме. 65
Раз я заметил красную маску и глаз с продолговатой слезинкой, свисающей на цветном стебельке. Я вообразил себя персонажем фильма. Между моим прошлым и настоящим не было никакой осязаемой связи. Неужели я добровольно приехал сюда с де Садом, пресловутой сексуальной бестией, которого, если верить историкам, периодически сажали в тюрьму за содомию? Этот человек просто вошел через черный ход и остался надолго. Он искал лишь выхода из этой жизни. Возможно, он думал, что отыщет здесь переход к неведомому.

Меня провели в просторный зал с кожаными кушетками и креслами, стеклянными столами, несколькими внушительными канделябрами в зарницах хрусталя и импровизированной сценой в красных и пурпурных драпировках. На кушетках молча сидели молодые люди. Сам же он восседал перед сценой на узком стуле с тростниковой спинкой. Он уселся так, чтобы сохранять идеальное равновесие, и не обращал внимания на остальных. Каким бы ни было его настроение, он, несомненно, заикнулся на ожидании того, что уже себе вообразил. Едва приобретаешь эту привычку, уже нельзя получить удовлетворение, ведь реальность всегда уступает иллюзии.

Меня выведут на сцену, сообразил я. Свет померк, и единственный белый софит высветил пяточок на подмостках. Я знал, что многие стояли там до меня. Я больше не Филипп – я стал кем-то другим. Мне дадут новое имя и посвятят в сексуальные обряды. Париж казался таким далеким. Быть может, это сон? А как же моя стильная квартира на исторической рю дю По де Фер, обставленная маекенами, одетыми по моей моде – в кожаные кепки, цепи

и тоги? Неужто мне приснились вся моя прошлая жизнь и долгая поездка на машине в Лакост?

Теперь свет погас совсем. Я услышал его голос, заговоривший нараспев, а по всему моему телу стайкой нервных рыбок замельтешили пальцы и языки.

66 – Перейди через мост, и спустишься в небольшую долину – около четырех акров, окруженную со всех сторон отвесными скалами, что поднимаются к облакам, – пиками, огорожившими долину безупречной ширмой. Проход, называемый «мостовым путем», служит единственным средством сообщения с долиной; и если убрать или разрушить мост, на целом свете не найдется ни единого существа, – какую бы породу ты ни вообразил, – способного пробраться на этот клочок ровной земли...

Его голос становился все громче, я отключился. Но перед этим вспомнил эпизод из своей – его жизни – поездки сюда? Я ждал в какой-то комнате. У меня была назначена встреча, и я тревожился, поскольку забыл, зачем пришел. Я пролистал глянецовый журнал – свежий номер парижского «Вог», – но даже экстравагантные модные снимки не привлекли моего внимания. Я все время прислушивался к шагам, но никак не мог подготовиться к предстоящей беседе. Меня вырвали из привычной обстановки: так бывает, когда просыпаешься в незнакомом месте. Меня разъединили. Я словно пробудился внутри сна, не в силах вернуться к реальности. Возможно, так оно и было: я осознавал себя в контексте сновидения. На столе сидел скорпион, и я посадил его на тыльную сторону левой ладони. Он прикинулся вычурной перчаткой и затрещал. Я не испугался. Я смотрел на него. И тут открылась дверь. Вошел человек, в котором я узнал де Сада. Свою каменную голову он нес в руках – носить ее на плечах слишком тяжело. Я заметил, что на каменной шее повязан один из моих серебристых галстуков. Я хотел спросить, где купил, как вдруг по спине ударил хлыст. Я выдержал первые жестокие удары: боль растеклась огненными притоками вдоль позвоночника, и я задышал так, словно бежал в гору. Отключаясь, я стал ловить каменную голову, что покатилась к обрыву. И, устремившись за ней, рухнул во тьму.

Такой долгий путь – до самой сути вещей, если вообще можно докопаться до истоков переживания. Порой железные ступени, вбитые в торец скалы, будто растворяются в воздухе. Я вдруг хватаюсь за дымовые бивни, не в силах отделить явь от сна, иллюзию от реальности. Если оступлюсь и долечу донизу, найду ли я свой разрушенный замок на песке, окруженный наступающим приливом: окна разбиты, фронтоны выгорели? 67

А Филипп? Столько мальчиков-проституток я встречал – эти бесчисленные осколки городских улиц! Без корней, они, точно семена, что разносятся ветром на песке, стремились обрести отца по велению плетки.

Однажды я написал: «Я рожден для того, чтобы мне служили, и да будет так». Филипп служил мне тем, что слушал. В Лакосте он узнал обо мне столько, что мог бы написать биографию. Он прятался за драпировками, когда я ночами читал на сцене свои нескончаемые монологи. Я расхаживал по подмосткам голый или в тяжелой русской шубе, описывая тех моих предков, с которыми желал его познакомиться:

– Связанный по материнской линии с самыми влиятельными семействами королевства; состоящий в родстве по отцу со всею знатью провинции Лангедок; рожденный в богатейшей парижской семье, я думал, едва научился думать, что природа и счастливый случай соединились мне на пользу; так я и объявлял, ибо людям хватало глупости мне об этом говорить, и эта нелепая предвзятость сделала меня высокомерным, деспотичным и вспыльчивым; казалось, будто все должны мне подчиняться, будто целая вселенная должна меня ублажать и лишь я один имею право питать и удовлетворять подобные пристрастия.

Свою роль я играл всерьез. Обрел загадочный ореол или ауру, неотразимую для всякого человека с каким-либо психосексуальным изъяном. Интерес к моим привычкам вынуждал людей раскрывать их собственные интимные наклонности. Меня видели насквозь, будто некая прозрачная перегородка позволяла исследовать мои внутренности. В реальный мир люди возвращались только затем, чтобы пожаловаться на свои видения. Они воплощали мои фетиши, развешивали их на крюках, точно кобр, а прохожие пробивали пулевые отверстия в багровых шкурах. Меня преследовали те, кто втайне лелеял желания, которые я имел мужество осуществлять. И если они хоть раз участвовали в моих так называемых злодействах, то вопили о воздаянии, забыв, что притягательность удовольствия и привлекла их к черным драпировкам и эротическим фрескам моей святой святых флагелланта.

Для меня секс был неразрывно связан с цифрами, сведенными в таблицы. Сколько? Сколько ударов они выносили? Какова пропорция тех, что исчезали от излишеств или смерти? Я составлял списки. Один касался обитателей замка Силлинг.

Господа	4
Старики	4
Кухонный персонал	6
Рассказчики	4
Ебари	8
Мальчики	8
Жены	4
Девочки	8
Итого	46

Тридцать были принесены в жертву, а шестнадцать вернулись в Париж.

Окончательный подсчет

Убито до 1 марта во время оргий	10
Убито после 1 марта	20
Выжили и вернулись	16
Итого	46

Я никогда не стремился утешить – меня интересует правда. В одну из тюремных отсидок я потребовал пальто цвета парижской грязи. Я хотел носить на себе свои чувства; моя кожа соприкасалась с камнем и грязью очень часто, и я знал, что приобрел окраску своей среды. Выпрямляясь, я напоминал земляной столб. Я чувствовал, как к телу пристают осколки камней, стекла и бутылочные пробки. Так я ассимилировал свое окружение, примеряясь к ситуации, что заволакивала меня, словно тень. Иногда темнота в камере становилась осязаемой. Я мог обхватить ее руками и с нею бороться. Я был столбом, обнимающим другой столб. Так я мог стоять часами, меряясь силами с противником.

69

Но прежде чем вернуться к Филиппу и другим членам братства, присоединявшимся ко мне в те долгие обособленные зимы в моем поместье, я хочу подытожить мучительную дилемму своего тюремного заключения. Я был стеснен, однако волен строить во внутреннем пространстве. Мне совали мясо на палке, и я принимал его, восседая на воображаемом золотом троне. Пока недруги мои полагали, будто я сижу крысой в норе, я собирал первые покрасневшие на солнце апельсины в Севилье или бродил по солнечной пыли иной планеты, изрытой кратерами. Кто я? Человек, путешествующий между эпохами. Почему-то я никак не могу съехать с дороги, по которой впервые пронесся в карете, а ныне мчусь на «мерседесе» с личным шофером. Похоже, некоторым из нас никогда не выйти из времени. А память моя непогрешима. Я приведу вам отрывок из письма, которое написал в Венсенне в 1783-м. Защищаясь, я перечислял различные сексуальные обычаи, одобряемые по всему миру. То, что я вдруг высказал, впоследствии назвали сюрреализмом:

«Если пойти к царю Ачеха, которого обслуживают семьсот любовниц, коих ежедневно бьют по триста-четыреста раз плетью в наказание за малейшую провинность, и который проверяет остроту клинков на их головах, или к императору Голконды, что выезжает на двенадцати женщинах, выстроенных в виде

слона, и собственноручно приносит все двенадцать в жертву всякий раз, когда умирает принц крови; если рассказать этим особам о том, что в Европе есть маленький клочок земли, где некий мсье Лемуар ежедневно платит трем тысячам осведомителей, дабы они выясняли, каким образом обитатели сей местности извергают свою сперму; что существуют тюремные камеры и предусмотрены смертные приговоры для тех, кто еще не знает, что открывать «шлюз» вправо, а не влево – преступление; что, буде в подобные минуты естество велит открыть заслонку возбуждения, которую мсье Лемуар принуждает держать закрытой, это наказывается смертью или двенадцатью-пятнадцатью годами заключения; если бы, повторяю, кто-нибудь пошел и рассказал об этом различным вождям, согласитесь, что они, в свою очередь, имели бы полное право упрятать такого информатора в сумасшедший дом...»

Я знал интерьеры похлеще тесных, обитых войлоком камер. Я медитировал на глазок своего пениса. Я засовывал нитки жемчуга в самое чувствительное из отверстий. Жемчужины увеличивались и превращались в гневные луны, что сшибались между собой. Даже те, кто поначалу охотно предавался сексу, позже набрасывались на меня с неистовой злобой. Они чувствовали, что мой выброс – это отравленные дрожжи, которые взойдут отвратительным, уродливым зародышем.

Той зимой, когда Филипп приехал в замок, предшествовала затяжная, лощеная осень. Багрянец, золото, запорошенная медь; ослепляющие дожди косо лились на виноградные лозы; запах детства поднимался вместе с сыростью; причудливые зигзаги длинных молний. Если б я мог вздеть руку и оставить отпечатки пальцев на небе – тонкой лазури, преобладавшей днем, я соприкоснулся бы с реальностью, ускользавшей от меня в сексе, писательстве и всех формах человеческого соучастия. Вообразите. Пять белых отпечатков, плывущих промеж облаков по пути к океану, устремляясь к Альпам, Флориде и Лос-Анджелесу. Мне хотелось

оставить осязаемый след на синей *tabula rasa*. Минутное осознание того, что твоя жизнь – огромный бессмысленный поток.

Отвлекаясь от придумывания уникальных геометрических узоров для секса – занятия, изнурявшего разум, я писал экспериментальные пьесы для абсурдистского театра. Если я не изображал свои желания физически, то проецировал театр теней, создавал абстрактные фигуры и придумывал другие пьесы с участием кукол – самых покорных сексуальных партнеров. Мой голос доносился, будто из другого мозгового отдела. Справа налево и слева направо, в стихийном порядке. Согласно одной теории, причина шизофрении в том, что наставляющее пророческое божество поселяется не в том полушарии головного мозга. Голос, коренящийся в первичных истоках, поддерживает неиссякаемый диалог. Он возвращается к корням речи и дальше – к довербальному истолкованию вселенной. Я очень часто соприкасался с этим источником и считал это естественным. Как иначе создать театр? Голоса звучат в голове и выплескиваются на страницу. Они становятся реальностью – как Филипп и тюремные камеры, которые я пытался расширить, наваливаясь на упирающийся камень. Я никогда не мог отделить секс от других видов активности. Он пропитывал все, что я делал, словно огонь, бегущий по сухому орляку. Я сидел и писал, думал, размышлял над оккультным смыслом чисел или просто смотрел, как бревно охватывают сине-зеленые языки пламени, а меня неотступно отвлекали, преследовали эротические фантазии.

Филипп был полезен не только в сексе, но и как дизайнер одежды и ширм для моего театра. Он искусно изображал мои фетишистские наклонности. Кожаные маски, баски со стразами, удавки, шорты, микро-юбки, ножные браслеты – весь садомазохистский инвентарь, хранившийся у меня в голове. Или я заставлял его трудиться над ширмами. Я обожал скатологическую экстравагантность, и Филипп воплощал ее в воспаленных тонах. На серебристом или оранжевом фоне отпечатывались тридцать-сорок приподнятых жоп. Порой он делал ширмы из ткани. Из кожи или шелка. Я заказывал для него материалы, и их достав-

ляли в замок: буйство чувственных текстур, оскверняемых отпечатками раненых органов. Однажды я попробовал написать что-нибудь для народного театра. Однако мое произведение отвергли, сочтя негодным для публики, и тогда я решил выразить свои истинные интересы в частном высказывании. Моим неопубликованным пьесам несть числа. «Les Jumelles ou le choix difficile», «Le Prévaricateur ou le magistrat du temps passé», «L'Ecole des jaloux ou la folle épreuve», «La Tour mystérieuse», «Les Fêtes de l'amitié»^{*} – список можно продолжать бесконечно. Для библиографов они стали гипотезами и догадками. Неопубликованные произведения, импровизационные и никому не известные, поскольку я разыгрывал их с избранной группой посвященных в секс. Филипп мог жить в состоянии самовнушения. Я опробовал это на всех, кто посещал замок. Мне хотелось привить своим подданным восприимчивое сознание сомнамбул, чтобы они повиновались при малейшем намеке. Я мечтал вступить в зону молчания и работать с немым гаремом. Пожалуй, следовало всем вырывать языки сразу при въезде в Лакост.

Я написал один фрагмент – короткую пьесу, или мини-драму, предназначенную скорее для экрана, чем для сцены. Попробую вкратце пересказать ее, насколько удастся.

Театр погружен во тьму. Из зрительного зала выходит фигура. Обнаженное тело обрито флуоресцентной золотой краской. Фигура шагает по проходу, в руках у нее черная маска. У сцены надевает маску с двумя очень яркими светилми. Один – солнце, другой – луна. Фигура приседает и зажигает свечи. Теперь мы видим десять серебристых мешков, свисающих с потолка. Музыка напоминает похоронную. Пока мы смотрим, мешки начинают кричать. Центральная фигура берет плетень и звонко ударяет по каждому. Целует рукоятку и кладет орудие наказания перед зеркалом, что служит алтарем. Становится на колени и творит проклятия перед зеркалом.

Актер встает и срезает подвешенные мешки. На сцену выходят два ассистента и помогают ему. Они выстраива-

^{*} «Близнецы, или Трудный выбор», «Нерадивый, или Судья былых времен», «Школа ревнивцев, или Безумное испытание», «Таинственная башня», «Праздник дружбы» (фр.).

ют мешки и вспарывают их. Из каждого вылезает фигура. Пятеро мужчин и пять женщин. Они одеты в черные прозрачные трико. Губы накрашены алой помадой, на лицах – толстый слой театрального грима. Затем они быстро бегают вдоль белого круга на сцене, точно перепуганные лошади в загоне.

Золотая фигура стоит в центре круга. Она вставляет плетъ между ногами и кланяется. Затем обращается к глазку своего эрегированного пениса. Стоя лицом к зрителям, помадой рисует на головке члена красный кружок. 73

Золотая фигура: Я свободен от всех человеческих эмоций. Меня интересует лишь наслаждение.

Эхо: Ты вырезал свое бьющееся сердце и оставил его в черном ящике.

Золотая фигура: Я закопал этот ящик. Вот бы его придавила собой Бастилия. Пусть же его никогда не найдут. Я лелеял желание. Свое зрение и гени- талии.

Эхо: У тебя развился сатанинский сатириаз. Лишь так для тебя выражается реальность.

Золотая фигура: Пусть же я никогда не раскаюсь. Никогда. Никогда. НИКОГДА.

Пока его голос затихает, единственный белый софит выхватывает из тьмы фигуры на сцене. Красный свет рассекает белый конус. Десять фигур показывают золотой фигуре свои жопы, и на каждой написан ряд цифр. Золотая фигура выпускает из корзины змею, та обвивает руку и плечо. Склонив левую щеку, актер поглаживает ею головку рептилии. Язычок змеи мелькает, пытливо тычась в плоть. В ответ на фаллическую мимикрию змеи человек пробегает чувствительными кончиками пальцев по своему эрегированному члену. Десять фигур по-прежнему согнуты. Актер выпускает змею, и она настораживается. Человек закрывает глаза ритуальной черной повязкой. Змея движется зигзагом, медленно, капризно извиваясь, к двум фигурам слева. Они не осознают опасности и не разгибаются, безропотно повинуюсь. Их запястья скованы. Все они, мужчины и женщины, балансируют на багровых каблуках, похожих

на хрупкие ножки фужеров. Змея отправляется на разведку, стробоскопы приходят в исступление. Красные и белые молнии скрещиваются с зелеными и фиолетовыми лучами. Сцена постепенно темнеет под вопль одной фигуры, видимо, укушенной змеей, и жестокие удары проносятся над пассивными жертвами.

Я вспоминаю, и память – это вереница кодированных клеток, полученные образы, пронумерованные, подобно диафильму. Илфорд, 18а. Где-то в электронных архивах, составляющих мои впечатления о жизни – нескольких жизнях, жидком протяжении во всемогущее сознание, – есть эпизоды, частности, обвиняющие меня в том, что я жил. В каждом из нас есть черты, сродни неподвижным звездам: что я делал, кем был, что делаю, кто я. Иногда я кричал, дабы освободиться от сознания.

Что-то происходило всякий раз, когда я запираю ворота замка и вступаю в диалог со своей сексуальной энергией. Это вызывало психопатический бунт, патологическое неистовство, сжигая меня и оставаясь навсегда, словно вирус, циклично возвращаясь с теньевыми симптомами. Я – разум, на чьей орбите вращаются все извращения. Я – тот, кто во всем находит красоту. Даже заглядывая в самый грязный тюремный нужник, я вижу на поверхности пляску изумрудов, сапфиров, халцедонов. Я видел окаменевший лес в камере для допросов, извлекал колибри из крови, пролитой на улице, наблюдал, как расправляются золотые крылья за плечами у тех, кого мой хлыст превращал в решетку из мягких сине-багровых горизонталей.

Вечно это вмешательство. Если и не закон, то паранойальное подозрение, что чей-то глаз уставился на меня из угла – блестящая линза, наложенная на скудные слои света, – или наблюдает за мною с небес. Белый глаз в полдень и красный – в полночь. Либо тень: что-то назойливо просовывается, лежит плашмя на земле, точно змеиное брюхо, заполняет промежутки между моими мыслями и шипит в порожней тишине, где мы живем, пока не сосредоточены на образах или расстройстве бытия.

Возможно, суть преступления в том, что его раскрывает не человек, а тень. Кто-то внутри нас долго странствует

по запутанным коридорам, по галактикам мертвых мозговых клеток, спиралям ДНК, генетическим программам, дабы оглушительно прозвучать в сознании. Мы даже не знаем, кто или что. Я никак не мог от этого избавиться. Лишь в освобождающий миг оргазма мой двойник временно исчезал. Секс – это снежные бури: белая метель заслоняет все, кроме образа своего желания. Во время этих экзотических толчков, тугих, как натянутая проволока, я обретал видение. Я был космонавтом, путешественником по галактикам. Я творил сверхновые, следовал за вулканической лавой своей эякуляции до ее окончательного высвобождения. Я пылал в светящемся конусе ее орбиты. Нацеленные ягодицы подходили так близко, что попадали прямоком в сознание. Если мышление способно к осязательному контакту, моя фантазия исследовала тактильную сенсорность. Я стремился изнасиловать, навязать себя образам, пронесившимся в голове. Мне хотелось прорубить дыры в мозгу и повредить свои заклинания, дабы они возвратились искаженными до неузнаваемости – обратным циклом потерь, умоляющих, чтобы я продолжал их увечить.

75

Была у меня и другая сторона. Я ставил у кровати алые розы и смотрел на них, постигая их красоту, – закрученный тюрбан разворачивался круговыми движениями, стремился достичь пределов, но никогда не отпускал тайный глазок в сердцевине. Окаменевший красный ураган, застывший на стебле. Позже я выносил эти розы на улицу и одну за другой втапывал в грязь – в колеи, оставленные буксующей шиной. Красота всегда доводила меня до предела. И, осквернив лепестки, дорогую материю, книги, на которых ремесленник проставил золотые печати, я еще больше упивался их ценностью, втапывая их в лужу каблуком и осознавая тот мгновенный апофеоз, что вызывало у них обезображивание.

Чего же я хочу? Что мы надеемся отыскать? Конечные цели нередко ведут в преисподнюю. В зловонной тюремной камере я слышал благоухание ландыша. Видел, как в голой бетонной стене сверкали драгоценные камни. Созерцал долины с тропической фауной, мерцавшие в сфинктере, куда я собирался проникнуть. Лошади становились в траве

на колени. Кто-то играл на фортепьяно, укрытом за зеленым пологом орхидей и лиан. А я задыхался. Я должен был дать волю своему бешенству, дабы прорваться сквозь усыпляющую иллюзию. Должен был вырвать траву с корнем, разбушеваться в душе, словно торнадо, крушащий континент. Отступая, я становился другим. Принадлежал к иной породе, к расе мутантов, перелетающих на тарелках с одной планеты на другую.

76 Секс и театр. Они тесно связаны. Мне хотелось их сплести, сделать взаимозаменяемыми. Я стремился создать вечное движение. Писал пьесы, в которых действие шло непрерывно, гримерные были сценой, так что актеры постоянно обнажались, а планы множились, не допуская уединения. Мои сексуальные привычки требовали столь же упорной наигранности. Пока я мог выступать, мне нужны были зрители. Я не трепетал, если на меня никто не смотрел. Чтобы я достиг оргазма, кто-то должен был испытывать удовольствие за меня и, возможно, максимально его обострять. Так я был клонирован. Если бы я обернулся, то увидел бы, что размножился цепочкой самопорождающихся роботов. Бесчисленные копии меня, фигуры на временном экране, который мы назвали памятью. Моих «я» было так много, что я не признавал себя виновным в сексуальных преступлениях. Существовал де Сад АБВГДЕЖ. Когда цепь впибалась мне в запястье, уродливый лилово-красный ушиб на моем теле мог принадлежать кому угодно. Меня затаскивали, точно зверя, в камеру – по обвинениям, которые не могла объяснить моя внутренняя свобода. Разрешится ли когда-нибудь непримиримый конфликт между событиями на ментальном и физическом планах?

В моем вдохновении всегда царит осень. Лиризм окрашен багрецом и золотом, сентябрение деревьев, созревание лозы, вино вливается в твою биохимию. Отпечаток ферментированного солнца на чувствах. В каменном заточении бывали дни, когда запах сырых листьев поднимался над полом с осязаемой силой удара. Мне хотелось пригоршнями зачерпывать рыжеватые, умбровые, пунцовые листья, прижимать их прохладу к лицу, трафаретами рассыпать по телу. Так много весен, лет, зим, что следуют своим цик-

лам, но осень всегда остается. Осуществлением всего того, чем мы никогда не будем. Она ловит память в стекло. Золотистый олень выходит из леса, встречая нас на дороге; любовь, которую мы познали в юности, возвращается вновь; рука машет с самой высокой ступеньки в городе. Если это женщина, она бросает белое платье к нашим ногам. Если мужчина – он снимает рубашку, и она, взлетев, медленно опускается в наши вздетые руки. В атомном ядре творчества все течет, а времени больше нет. Я здесь, сейчас и повсюду на движущейся линии. Написанное слово – точно капсула со свойствами семантической ДНК. Опыт целой жизни я способен имплантировать во фразу, в образ. Единственное слово может резонировать с целыми эрами генетической информации.

77

Филипп прекрасно понимал сложные взаимоотношения между викторией и виктимностью. Наказывая его, я наказывал себя и наслаждался переносом его боли на свои нервы. Так мои действия двоились. Это я испытывал на себе силу своей руки, поэтому и ударялся в такие крайности. Я верил, что мой партнер ничего не ощущает. Коль лилась кровь, она была моей. Меня потрясло, как слабо он чувствует. Мой болевой порог возрастал, и приходилось доводить себя до оргазмического остервенения, дабы возбудить пресыщенные нервы.

Порой я задумываюсь, как это случилось со мной? Что запрограммировало столь экстремальные желания? Для осуществления моей затеи требовались повышенная осторожность и постоянные расходы, связанные с устройством моей жизни в самом средоточии сексуального театра. Я нуждался во всемогуществе, во власти укротителя львов. Временами моя труппа приходила ко мне в звериных шкурах леопардов, зебр, тигров. Они ползали по полу на четвереньках – это символизировало скотство. Я вел их лабиринтом коридоров за ошейники и цепи: тигр в правой руке, леопард – в левой. И была лишь одна дорога – путь, ведущий в мою потайную комнату. Сегодня я записывал бы свои действия и показывал на видеоэкранах во всю стену. И, возможно, моим сочинениям недоставало бы той силы, что возникает, когда воссоздаешь нечто по памяти.

Мои поступки, реальные и мнимые, обернулись современным мифом. Мои сексуальные наклонности стали достоянием подполья. Я ожил в генах бритого юноши, повисшего на цепях. Я – психическая валентность его тестостерона. А девушка в латексных сапогах до бедер унаследовала мою одержимость. Она – мой женский имитатор. Поскольку сам я не в силах ее отхлестать, ее замещающий оргазм вызывают экстатические страдания партнера.

78

Я – молекулярный космонавт. Путешественник между мирами. В тот день, когда я занимался сексом с Филиппом, Де Кирико, возможно, измыслил своих белых лошадей – мое свирепое извержение сотворило формирующие гены новой породы. Филипп? Он был дизайнером одежды, юношей, которого мы привезли из Парижа в Лакост. Его тело ничем не отличалось от остальных пяти тысяч, с которыми я экспериментировал. Отчего же я помню его? Оттого что эмоции – это взаимный обмен нейронами? Или оттого, что слабый аромат ванили в его дыхании напоминал о весне, бело-розовом боярышнике, фиолетовых бивнях сирени, задевающих щеку, если ныряешь в кусты, о тигровых желтофиолях, источающих роскошный аромат, способный порезать ноздри, как свежескошенная трава? Филипп входил в ту чувственную амальгаму, благодаря которой я жил. Где он теперь? Может, тусуется в гей-баре или умер и ожидает реинкарнации. Если вернется, станет парикмахером, дизайнером, и его краска для волос прозвучит новым словом в искусстве.

В 1784 году я написал жене о симптомах, сопровождающих инфекцию мочевого канала. Я обрисовал свою сексуальную аномалию, рассказал о вирусном заражении. Честность всегда отличала меня в жизни – во всех моих жизнях. Эякуляция стала крайне болезненной и неприятной, и мне нужно было с кем-то поделиться своими страхами. Как корреспондентка жена внушала мне доверие и вместе с тем подозрения в измене. Меня не беспокоило, что о моей хвори станет известно, – в таком случае она просто вошла бы в воздушную струю истории.

«Это напоминает эпилептический припадок, и если бы я не принимал утомительных мер предосторожности,

они бы наверняка что-то заподозрили еще в предместье Сент-Антуан из-за моих судорог, спазмов и боли, – ты видела, как это было в Лакосте, – и если уж на то пошло, сейчас вдвое хуже, так что посуди сама... Я пытался проанализировать, чем вызван этот приступ, и единственная разгадка кроется в чрезмерном утолщении – словно я пытаюсь выдавить крем из склянки с узким горлышком. От этого железистого выделения кровеносные сосуды раздуваются и лопаются. Что мне делать?» 79

Иногда наши физические реакции проверяются аномальной жизнедеятельностью. Неожиданно мой вулкан застыл. Я хотел постоянно, но боялся утолить свое желание. Дисбаланс в нервах был равносителен космическому перевороту, физиологической мутации, грозившей мне безумием. Я основал свою жизнь на траектории собственных оргазмов, но меня внезапно патологически стеснили. Казалось, будто земля перестала дышать сквозь поры, и не было лекарства для облегчения моего недуга. Я приравнивал болезнь к уродству: в моих яичках зарождались тератологические рога, плавники и лапы. Охранник мог обнаружить, что моя камера завалена жабами, саламандрами, липкими ископаемыми ящерами. По каменному полу зигзагами метались змеи – золотисто-зеленые молнии в поисках выхода.

Из-за этой-то боли, реального, удушающего физического заточения я и начал писать. Не оставалось других форм выражения. Подобно Жану Жене, я очутился в психофизическом микрокосме. Мое зрение, легкие, органы чувств разрушены. Я не желал быть ни внутри, ни снаружи – в мире, которым когда-то наслаждался. Наступает предел, за который чувствам не выйти. Мои нервы омертвели, словно под анестезией. Все равно что щупать замерзшими пальцами, пробовать языком, нечувствительным ко вкусу, нюхать, не обоняя, возбуждаться, но сводить фантазию на нет. Не фигура, а чурбан: квадратная безглазая голова, квадратное туловище, квадратная грудь, квадратные ноги, квадратные ступни. Просто каменная глыба из Бастилии, которой я противостоял: терся о нее лицом, проверяя, как кошка, что выгибает спину, прикикая к дереву. Иногда

я носил каменные перчатки. Мои ступни были гранитными, голова – монолитный куб.

Но в Лакосте я был текуч. Мои чувства воспламенялись. Тончайший шелк казался шершавым. Я приказывал, чтобы мою пустую ванну заполняли тяжелыми малиновыми лепестками роз, и сладострастно нежился в их прикосновениях.

80 Я наверстывал свой возраст. Он по-прежнему беспокоит меня. Где-то в абстрактной конфигурации будущих тел, в мутантной геометрии я обрету избавление. И я писал, дабы спланировать это будущее. Разговаривал с Филиппом, с самим собой, с ничто. Живописал видения, что заключены в черной книге, схороненной в центре земли. Кому-нибудь этот текст всегда доступен. Кто-то читает его в грезах, обнаруживает в галлюциногенах, расшифровывает, лунатиком проходя сквозь фараоновы гробницы, столбы белого шелка, минуя пейзажи, откуда виден прямоугольник в пространстве. Там, белые на фоне лазурного неба, парят стол и стул. Черная книга распахнута на зависшей столешнице, и в этой книге я читаю:

В начале небо было квадратным. Планеты были кубами.

В звездах был алфавит. Он читался: де Сад.

Эти буквы плодились. Образовали временные созвездия.

Безумие обитало в доме. Он звался Лакост.

Мания была цилиндром. Она стала фаллическимobeliskом.

Она была сильна, как ураган. Круговой апокалипсис.

Всемогущество означает владение. Всеми чувствами.

Эякуляция есть знание. Первобытной космогонии.

Разве я не кричал о своем открытии пустому театру? Мраку, что без вторжения софита был просто пустотой. Я был скован собственной властью. В тиши этого каменного дома я вообразил себя богом. Я создал новую породу. Они предлагали мне свои шрамы в обмен на боль, которую я причинял. В центре дома я воображал глубокую яму. В этот водоворот попали белые лошади. Сны обретали там очертания – так скопления облаков висят паровой крышей над голубым

заливом. В небе над Парижем я видел облака, похожие на стадо белых слонов. В Лакосте кучевые сновидения были черными грозowymi тучами. Рассей я эти создания равномерно по вселенной, жизнь бы вымерла. Континенты бы подняли бунт; восстания привели бы к немедленному геноциду. Приходилось сдерживать свой потенциал. Я заглянул в эволюционную воронку и долго стоял в размышлении. Мне представлялись любые возможности. Я видел диктаторов, что протестовали и требовали с трибун, кричали в микрофоны. Видел, как они падали в обморок за кулисами в пуленепробиваемых гримерных, и врач осторожно впрыскивал микродозы адреналина в их утомленные сердца. Там было пламя, ядерный взрыв, что изумил бы вселенную. Я возвращался туда каждую ночь, а когда отворачивался, меня парализовал шок. Часами, днями, неделями искал я свою комнату в лабиринте коридоров. Я нес с собою бремя грядущего. Даже мои жертвы не умели вывести меня из этого транса. Я был замурован среди собственных воображаемых находок. 81

Мне вспоминались имена: моя жена, Рене-Пелажи де Монтрёй, Роз Келлер, Жанна Тестар, моя теща и главная противница мадам де Монтрёй, череда сексуальных знакомств. Я заболел. Во сне ко мне пришел голубой пес с овальным зеркальным подносом. Заглянув туда, я увидел пучеглазое насекомое, махавшее мне усиками: большие выпуклые глаза, пухлое тело в черном бронированном панцире. Целую неделю я боялся, что этот вестник вернется из преисподней. Я жил с задернутыми шторами. Даже эхо шагов в глубинах дома напоминало внезапный гулкий треск перед оползнем. Нервы проступали у меня на коже. Я посетил области, подвластные безумию. Вдоль горизонта катились черные, красные и зеленые солнца. Я видел, как из противоядерных убежищ выходят представители новой породы: они преобразились от потрясения, превратившись в тощих, как шпильки, радиоактивных психотиков: мужчина и женщина выбрались наружу, дабы похоронить своих детей в абсолютном беззвучии праха. Я видел слияние земли и неба – и ни единой птицы, даже ветерок не гулял в этом вакууме. Мужчина был такой ху-

дующий, что если б уцелела хоть одна муха, она сбила бы его с ног.

И постепенно я поправлялся. Комната сделалась устойчивее. Я впустил в свой день свет. Поздняя осень заполонила мне зрение последним красно-желтым извержением отсыревшей листвы. Ко мне вернулось желание. Впредь я буду избегать той ямы в средоточии ночи, в средоточии своей жизни.

82 Читая эти строки в своем столетии, способны ли вы понять, что мне постоянно угрожал арест? Что бы ни делал я в интерлюдиях свободы, поступки мои обретали вневременное измерение. Действие воплощало отложенный переход между внутренним и внешним мирами. Возможно, оно относилось к первому, ко второму или к обоим. Чаще всего мы помним лишь то, что делаем. Но есть и другая форма делания: то, что мы забываем или неосознанно предпочитаем изгладить из памяти. И едва обнаруживаем недостающие звенья в своей жизни, связки выделяются пятнами крови на белом кафеле. Я сделал это вчера, в прошлом году или три столетия назад?

В тюрьме я узнал то, о чем забыл, вот это и было подлинной карой. В жизни мы закрываем глаза на столь многое, что, кажется, оно больше никогда нас не потревожит. Но образы возвращаются визуально искаженными, что наводит на мысль о кинокамере, напичканной ЛСД. Внутреннее пространство сотрясают имплозии техникolora. В голове проносятся катастрофы, войны, увечья, пытки, а затем движение замедляется, и остается один изолированный образ – мой акт. Правда, он смещался во времени и пространстве. Какая-нибудь детская ошибка, резкое замешательство при нарушении придворного этикета, повторно разыгрывались в испанском суде, флорентийском борделе, во дворе, где изможденный ребенок сидел на красной подушке и курил кальян. Эти воображаемые территории ассоциировались с совершенно чуждыми событиями.

Ходили слухи, что я сумасшедший. Кое-кто по-прежнему объясняет мои сексуальные пристрастия умопомешательством. Меня, Донасьена-Альфонса-Франсуа де Сада, считают психотиком и маньяком, но ведь я – изобретатель

всех форм физических и сексуальных пыток; автор сочинений, позволивших прорасти зерну *Psychopathia Sexualis*. Я ползал по каменной камере, близорукий, истерзанный болью, но при этом баюкал в руках черную змею, проглатывал ее, если меня прерывали, а затем вновь материализовывал из отверстия в позвоночном столбе.

Это ведь я искал на себе вшей в нищенских номерах на Вандомской площади и в секции Пик. Это меня разоблачали как аристократа и контрреволюционера, когда в Париже денно и ночью трудилась гильотина, с резким свистом швыряя головы в корзинку. Это я следил за непрерывной сменой эпох. Разве не я жил в квартире на рю де Риволи, когда над Рейхстагом взвились красные флаги, а над Европой встало черное солнце свастики? И разве не я сидел у ног Алистера Кроули в Телемском аббатстве на Сицилии? Там я встретился с Багряной Женой и изучил символику зоосексуальной эзотерики. Собака – анальная зона, скорпион – гениталии, обезьяна – ладони, змея – язык, сова – способность к тайновидению. Разве не я был магнатом и воротилой, всегда под маской, скрывающей истинную личность?

С Филиппом все было иначе. Я мог перепрыгивать из прошлого в настоящее, не пытаюсь скрыть отдельные их стороны. Я жил, живу, и основные черты характера никогда не меняются. Генетические перестановки никогда не изменят мою психосексуальную ориентацию. Я прячусь за синими тонированными стеклами своего «мерседеса», мчусь ночью по современному городу, обгоняя машины на свободных участках дороги в сосновом лесу, направляюсь на юг к побережью и по-прежнему осознаю свое исключительное происхождение, свой титул и невыразимую одиночество, которая всегда мне сопутствовала. Одиночество сидит у меня на коленях, похожее на голубой куб, вырезанный из неба. Вместо кота или собаки я бы завел себе облако, пахнущее открытыми просторами и дождем, который льет над саваннами и прериями, стоит сплошной стеной над Тихим океаном.

Отлучаясь из Лакоста, я путешествую. В галлюцинациях вижу эпизоды из прошлого. Однажды, поднимаясь

на дюну, я столкнулся с отцом – старым важным баринном, сдержанным и неизменно церемонным. После смерти он оставил мне лишь неотчуждаемую землю и долги. Он служил послом в России, затем в Лондоне. Был холоден, как испод камня. Его сумасбродство казалось необъяснимым. Этот человек проматывал деньги за рубежом с такой расточительностью, будто сидел на кокаине. Когда я взобрался на осыпающуюся дюну, отец стоял, повернувшись влево к аквамариновому горизонту. Отец держал что-то в правой руке, намеренно отводя взгляд от предмета. Приблизившись, я понял, что это статуэтка обнаженной женщины со сквозным отверстием на месте сердца. Ее погубила безразличная надменность отца, его высокомерная снисходительность. Фигурка была из золы. Я глубоко вдохнул, подул на нее, и она рассыпалась метелью серых чешуек. В ту же секунду дематериализовался и мой отец. От него остался лишь камень в форме сердца. Я положил его в карман, и камень по-прежнему у меня. Так или иначе, все мы окаменели: отец, мать, жена, ее родня и мое тело за годы заключения. И наверное, моя одержимость, мое вечное сексуальное помешательство отчасти объясняется стремлением обрести плоть. Мой пенис был тверд, как камень. Я должен был его разрядить, хоть и заслужил при этом свое современное прозвище «Божественный Маркиз». Это я-то, кто обращал деньги в плоть, а плоть – в кровавый ритуальный погром! Чего же я алкал? Превращения партнера в третий пол, андроида, породу с десятью чувствами и бессмертным телом. Отступая перед содеянным и созерцая фреску из шрамов – обессиленного, дрожащего человека, с которого я содрал кожу в экстатическом трансе, я ожидал увидеть его трансформацию. Представлял, как его золотистая фигура поднимется, протянет серебряную руку и подарит мне алую розу. Но он не хотел изменяться. Я оставался укорененным в плоти. На моей изъязвленной руке виден был лишь отпечаток рукоятки хлыста – пятнистый рубец, перечеркнувший ладонь.

Марсель – единственный город, куда я никогда больше не ездил. Я знал, что не почувствую вновь свежести тамошних своих находок. Запах порта, мокрые тросы скри-

пят во время прилива; моряки волками рыщут по улицам; женщины поджидают у входа – в руке ключ от комнаты, с румяной губы лениво свисает сигарета. Однажды мне велели три года не приближаться к городу. Судебное решение позднее было аннулировано как «*erroné et vicieux de forme*»*, а приговор заменен крупным штрафом. Но враги мои оставались непримиримыми. Меня преследовали. Даже во сне я видел глаза, что вперялись мне в затылок, и сны уводили меня в переулки. Враги подстерегали в пальто и нахлобученных шляпах. Там был *impasse*†. Тот, кто стоял ко мне лицом, зеркально отображал того, что сзади. Они стреляли одновременно, и две пули скрещивались в центре моего черепа.

85

И вот я рассказываю все это в трезвом свете дня, январское небо над головой почернело от грачей, мои руки лежат на правом колене, а мир равно любопытен и необъятен.

Однажды я сменил четыре тюрьмы за десять месяцев. В последней был городской дом, ухоженный сад и – поскольку меня больше не запирали в камере – женское общество. А затем прямо под мои окна перенесли эшафот. Сад превратился в кладбище, и за время заключения я похоронил восемьсот человек: треть вышла из нашего дома. Меня должны были гильотинировать 11 ноября, но днем раньше отрубили голову Робеспьеру.

То была эпоха террора. Я всегда бережно обращался со своими руками и бархатными перчатками. Меня понуждали закапывать обезглавленные трупы в глубокую яму на лужайке, которую окружал фигурно стриженный сад. Там росли зимние кусты – поздние розы с тугими белыми завитками. Я был эстетом, преобразившимся в артельного рабочего, – ведь даже после скромнейших открытий собственного нёба я сравнивал вкус экскрементов со вкусом оливки. Я внутренне восставал против прикосновения вещей, чуждых моему телу. В те забрызганные дождем серые ноябрьские дни, под улюлюканье кровожадной парижской черни, что отдавалось круговым эхом в низком небе,

* Ошибочное и неправильное по форме (*фр.*).

† Тупик (*фр.*).

когда коллективное помешательство приливной волною несло над городскими крышами, а тело мое просвечивало от страха, я свел знакомство со смертью и мертвыми. Я начал нумеровать свои погребения, и так мне удалось расчеловечить, обезличить тела, сваленные грудой у моих аристократических ног. Безумная схема из чисел, мелькавших в уме, – огромных, крупным планом, похожих на вопрошающие планеты. Кодовые системы, серии, алгебраические формулы, цифры, пищавшие, точно красные пульсары, – голова ломилась от каббалистических уравнений.

Сегодня, откинувшись на сиденье, я набираю цифры на своем автомобильном телефоне и жду, когда мне ответит голос из Амстердама, Копенгагена, Нью-Йорка. Утвердительно либо отрицательно. Мне чего-то хочется. Хотелось всегда. Желание невыполнимо. Иногда я набираю номер и молчу. Я знаю, что хочу невыразимого, недостижимого, последней загадки, которую не разгадать. И потому путешествую. Скорость – наркотик, пейзажи разваливаются, точно плоскости в абстрактной живописи, у дороги нет ни начала, ни конца. И у меня нет ни начала, ни конца.

Допросите человека, и внутри у него обнаружите незнакомца. Обезьяну, сидящую на гладильной доске; раздетый манекен, оставленный на ночь в витрине, чтобы демонстрировать прохожим свою асексуальную наготу. Де Сад – это вымысел, порожденный вымыслом. Поищите меня в полночном окне, в баре после закрытия, в квартире с белыми ставнями над Орлеанским мостом, с видом на хлорофильную Сену, где водовороты поблескивают мерцающими узорами, вытряхнутыми из тополей. Я – все, что вам угодно. Я стал «бывшей персоной», представшей перед судом, полым телом, которое обвинили и беспощадно осудили за бесчеловечность. Тяжкий приговор пал на мумию. Я стал другим, куда-то перенесся. В своем воображении я находился в Амстердаме, стоял на мосту-брови и глядел на речную торговлю, с усмешкой осматривая квартал красных фонарей: человек без имени и личности в глазах толпы – кто угодно, пустое место, поглощенное своими сокровенными мыслями.

Наступит ли конец тому, что я совершил и еще совершу? Мои глаза не закрывались, созерцая мир, словно я обречен никогда не уснуть. И в долгой ночи, длящейся, наверное, десятилетия, века, я видел внутренность жизни, временную инфраструктуру, что зависит от перемен в созвездиях. Я наблюдал, как человеческая тяга к саморазрушению распространяется с железа на расщепление атома. Как палача, который идет на работу по рассветным улицам, засунув руки в карманы плаща и изучая мостовую потупленным взором, сменяет ученый в машине, скользящей в уличном потоке: разум этого мужа защищен музыкой на кассете и личным номером, приготовленным для охраны. Своим оргазмом я значительно предвосхитил распад атомного ядра.

«Я ублажил пятнадцать мужчин: за двадцать четыре часа меня выебли девяносто раз спереди и сзади». Я помню этот отрывок. Сегодня я учетверил бы эту цифру. У де Сада есть подражатели. Смахивают на розовых и зеленых обсахаренных мышей под стеклом в кондитерской.

Филипп. Я часто думаю, не позвонить ли ему. Вернулся ли он к дизайну броской одежды для эксгибиционистов или, быть может, опыт Лакоста загнал его в подполье, в монастырское затворничество, ашрам, секту, где размышляют о достоинствах внутреннего пространства? Привел его к веганам, йогам, любителям галлюциногенов? У меня есть номер его магазина и квартиры, но он навсегда связан с конкретным временем и местом. Нужно двигаться дальше. Всегда найдутся другие. И всегда буду я – ум, не способный порвать с прошлым или забыть. Иногда я прошу водителя остановиться на краю поля, за много миль от жилья. В этих анонимных местах я теряю всякое представление о столетии, в котором живу. По краю поля цветут алые маки, синие васильки: такие встречаются повсюду. Черная туча неторопливо wpłyвает в белую, и получается рябое месиво на горизонте. Я откупориваю шампанское и, возлежа на сиденье, жду дождя. Он забарабанит по крыше автомобиля и погрузит в транс: я пересмотрю прошлое, ослепляющий импульс грядущего.

Когда мы трогаемся, машина еле слышно скользит по мокрой синей дороге, и я вспоминаю имена из прошлого,

личностей, что решительно повлияли на мою аскезу потакания. Позвольте вспомнить некоторых персон из моего неистощимого перечня извращений: Нуарсей, Сен-Фон, Клервиль, Бриза-Теста, принцесса Боргезе, королева Шарлотта, Дюкло, папа Пий VI. Реальные и воображаемые; созвездия фетишистского воображения. Я всегда устремляюсь к точке вне времени. За последней заправкой с работниками в оранжевых комбинезонах, за последним заколоченным

88 белым бунгалом на мысу где-то на краю света существует параллельный мир, куда я сбегáю. Смятые, облупленные пивные банки накатывают металлическим прибоем, блестящей линией, а затем шумно обрушиваются в море. Ночью там паркуют автомобили, а днем бродят зеваки. Для меня это вовсе не конечный пункт, откуда виден широкий охват маяка, а переход, мост.

Через месяц снова наступит осень, всё покроют багряные листья, нанесенные ветром. Я решил позвонить Филиппу, когда зарядят дожди. Если понадобится, поедem в Париж и припаркуемcя у его дома, его фирмы. Он поймет, что это я, по автомобилю, по тонированному стеклу чуть опущенного окна. И будет дождь. Филипп выбежит к машине в кожаном пальто до бедер, наброшенном на голое тело, и наша история начнется вновь.

Пришел этот человек. Хотел, чтобы я написал серию картин, увековечивающих мучительную смерть принцессы де Ламбаль, лесбиянки и предполагаемой любовницы Марии-Антуанетты, – той самой принцессы, которую чернь обезглавила и протащила по улицам Парижа. Я пощажу вас и не стану рассказывать, как ее четвертовали. Впервые явившись ко мне в студию, он был вынужден скрывать, как возбуждают его подробности ее гибели, и записывал их на бумаге, дабы унять нервный тик лица и рук. Поднявшись ко мне на чердак, залитый водяным фиолетом, он выглядел старым, словно затянутым в серую кожу, тучным и нескладным. Его внимание постоянно переключалось, мышление калейдоскопически дробилось. Он был похож на медведя. Не ходил, а скорее пробирался вброд, сомневаясь в проходимости пространства, словно всю жизнь мерил шагами камеру. Похоже, его удивляла гибкость собственных движений. Зрение у него было плохое, и он шел осторожно, будто с завязанными глазами, вытянув вперед руки и предвосхищая воображаемые препятствия. Стену, фонарь, человека. Край отвесного обрыва в пустоту.

Этот человек жестоко страдал от душевных и телесных ран. Периодически он вступал с собой в диалог, пересыпанный непристойностями.

Я попросил его сесть, но, несмотря на явную одышку, он бесцельно бродил по комнате. Искал то, чего не найти, некий контур, разомкнувшийся у него в голове.

Три недели спустя он вернулся в студию преображенным до неузнаваемости, но я тотчас узнал его голубые глаза, похожие на капли, упавшие с неба, маленький женственный рот и мощную нервическую энергию черт. Он был стройным, словно резец скульптора удалил все лишнее,

а его манеры – плавными, светскими, смягченными достатком, однако скрытными, будто в душе он искал какой-то выход из лабиринта. Я почти слышал его мысли и воображал, как его голова вдруг стала прозрачной и показались цветные образы, порожденные разумом: мимолетные и разрозненные вспышки множества незавершенных повествований. Быть может, он пересматривал прошлое или будущее, либо они составляли общую текстурную последовательность, акварель, на которой выделялись метафорические персонажи, указывавшие единственный способ мышления – исчезновение?

Он был одет в дорогой серый костюм. «Сен-Лоран» или «Бальмен». Рубашка мандариновая, галстук – синевато-оранжевый закат. Во всем виден достаток, но при этом мой гость напоминал человека, который не знает покоя и постоянно живет в отелях – целой веренице апартаментов, что открываются лишь во время кратковременных визитов в Париж, Ниццу, Лондон, Мадрид, Нью-Йорк. Такие люди одиноки: они пускаются в путешествие ради внутренних открытий, в некую онирическую поездку, требующую инерции сомнамбулы.

На сей раз он представился просто де Садом. Церемонно снял черную бархатную перчатку и протянул правую руку. Мои кисти были усеяны каплями краски, напоминавшими конфетти. На мне были залатанные джинсы и белая футболка с лицом Мадонны, надувшей алые губы, точно Монро.

Я знал, что нужно этому человеку, но работа не была завершена. В своих письменных инструкциях он просил о таких извращенных подробностях, которых я не хотел изображать. Его требования звучали, точно выдержки из учебника пыток. Казалось, он хорошо помнит жестокую казнь принцессы де Ламбаль и мечтает мысленно к ней вернуться. В ее расчленении он явно пытался самореализоваться. Если верно то, что одно ощущение прямоком ведет к другому, де Сад стремился оживить дремлющую ячейку памяти, надеясь, что последующая имплозия воссоединит его со скрытым повествованием.

Я сделал лишь серию алых мазков, символизирующих насилие: текстурную абстракцию, наложенную на квадрат-

ную голову с экстравагантным черным пером на шляпе, как-то соединенной с плоской черепной коробкой. Но красный цвет вырвался и стал самостоятельным пунцовым, бурлящим столкновением маков или струей крови, хлещущей из перерезанной артерии.

Де Сад обладал непогрешимым чутьем на предубеждение. Вместо того чтобы выслушивать, как я мямлю о частных пробах и эскизах, в которых я пока лишь косвенно отвечал его требованиям, он достал серый бумажник змеиной кожи, лишенный изящества толстой пачкой банкнот, попросил разрешения воспользоваться моими кистями, вынул кучу купюр и раскрасил их яркими красками. Алой, желтой, голубой. Он красил сосредоточенно, с преувеличенной страстностью, будто показывал тайно разработанный экспериментальный прием. Раскрашенными деньгами он покрыл стол и деревянный пол вокруг, а затем уставился на меня голубыми глазами. 91

– Это обратный процесс, – сказал он. – Я расписываю деньги, а вы пишете, чтобы их заработать.

Он умолк, и его мысли внезапно свернули по касательной. Легкие дождевые капли заляпали световой люк. Они застыли маленькими стеклянными насекомыми, что прыгнули с парашютом со зловещего сиреневого неба. Холодность де Сада была груба и внушительна, отдавалась эхом по студии. Дождь ускорил свое стаккато. А в облачном покрове раскрылся околоцветник света. Он омыл нас, словно мы резко перенеслись из темной комнаты на солнце.

Де Сад открыл серый кожаный саквояж. Достал блокнот, раскрыл его, заглянул и передал мне. Это я и предвидел. Там был отрывок из «120 дней Содома». Переписанный мелким почерком. Де Сад попросил меня зачитать то, что он написал.

«– Другой человек со схожими пристрастиями, – продолжала Дюкло, – пару месяцев спустя повел меня в Тюильри. Он хотел, чтобы я приставала к мужчинам и имела их в шести дюймах от его лица, пока сам он прятался под грудой шезлонгов. После того, как я выебла семь-восемь случайных прохожих, он устроился на скамье у многолюдной тропинки, задрал на мне сзади юбку

и показывал мою жопу всем прохожим. Затем он приказал отсосать ему на виду у половины Парижа, и, несмотря на поздний час, это вызвало такой скандал, что, когда он получил наслаждение, нас уже окружала группа из десяти зрителей, и пришлось удирать через кусты от парковой полиции».

92 – Это самый вялый из моих эпизодов, – прокомментировал Сад. – Аперитив к тому патологическому лиризму, что выражал все формы сексуальных отклонений. Понимаете ли вы, что я ношу в себе потенциал не только для совершения зверств, но и для изобретения преступлений, подобных которым не знал свет? Садизм нейтрализует ядерную угрозу. Каковы возможности атомного взрыва по сравнению с моим представлением о конце?

Его монотонная речь была результатом долгой внутренней работы. Впервые в жизни я осознал, что человек заключает в себе усовершенствованный проект подрыва планетных циклов. Внутреннее пространство представлялось ему формой расщепления секса. Я потакал ему, заигрывая со стилем его мышления, и втайне очаровывался натянутой манерностью, резко противоречившей общему характеру его идей.

Он держал тонкую кисть с красной щетиной средним и указательным, словно вертел в пальцах сигарету. Инструмент ему служил маятником для отмеривания речи.

– Наверное, вас шокируют анаморфы Бэкона, – продолжал он. – Туловища с оголенными мышцами, распахнутые, искривленные рты, выражающие эпифаническую муку бытия. По мне, так они слишком пресны, а посему не пробуждают интереса. Если Бэкон опередил всех в изобретении новой анатомии для выражения геноцидального столетия, то я пошел и иду еще дальше. Мунк, Сутин, Модильяни, Пикассо, Миро, Бэкон. Взгляните на головы, которые они рисуют. Это лицевые изменения не так, как мы их видим, а как чувствуем. Творцы изображают искаженных шизоидных двойников, занимающих пространство внутри нашей головы. Все мы населяем израненный интерьер. Я хотел воплотить свой и прожить настоящую, а не выдуманную реальность. Если показать людям нечто

безобразное, в конце концов, они найдут в нем красоту. И если упорно повторять эксперимент, можно перевернуть шаблон эстетических ценностей... Я узнал это на опыте. Но вас это не касается. Скажем так: я был отрезан от мира. И то была величайшая свобода, какую мне могли подарить. Они считали меня пленным выродком, замурованным в граните и стали, но я обитал там, где больше никто не бывал. Я был единственным жителем. Порой я слышал безумные вопли человека, которого охранники называли моим именем. Его воинственность, непристойность и отчаяние раздражали меня. Я хотел, чтобы меня оставили в покое среди моего царства, куда никто не мог ворваться. И у меня было много работы. Я должен был построить воображаемое убежище. Помощи ждать неоткуда. Писательство – как конструирование умственной пирамиды. Правда, пока строишь, она деконструируется. Живопись можно очистить и отреставрировать, но слова – никогда. Мертвые книги – точно сданные в лом автомобиля: целый континент можно заполнить одноразовой литературой, но на этом пустыре вы не отыщете произведений де Сада. Раскройте страницу, и слова взгромоздятся на вас стервятниками. Они потрошат, душат, раздирают, вырывают матку, обезглавливают. Мои слова неугомонны. Они рыщут, подобно мучителям в поисках жертв. Хотят инсценировать мои фантазии снова и снова, замедлять их, ускорять, перестраивать, перегруппировывать. Я хочу применить к своим длинным романам прием Берроуза. Вообразите «нарезку» из де Сада, которая будет публиковаться весь двадцать первый век. Бесконечные перетасовки на одну и ту же тему: содомия. И невидимый, анонимный автор, работающий где-то на краю света.

93

Он замолчал и посмотрел на световой люк. Цвета менялись. Тучи напоминали пеструю мешанину Сэма Фрэнсиса. Палитру швырнули в грязно-белую стенку, к которой она и прилипла. Ушибы, звездчатые отражения цвета, спирали-арабески, выделявшиеся на фиолетовом, неистово-бирюзовом, песочно-розовом. Мне захотелось написать эту композицию, назвав ее «Импровизация де Сад № 134», но он продолжил – обычно так вновь выпивают после паузы в беседе:

– Что ново под луной? Да ничего. Для гурмана филе из человеческой плоти равноценно курятине. Желудочные соки переварят и то, и другое. Для копрофила все обстоит точно так же. Вкус приравнивается к мышлению. Отталкивающее, табуированное – лишь то, что нас учат отталкивать, а не притягивать. Ваше нежелание писать вариации на заказанную мной тему объясняется этим основным принципом. Вы полагаете, что сойдете с ума, если откажетесь от определенного способа видения, переживания жизни. Но чтобы творить, нужно вывернуться наизнанку. Вы должны шагнуть на ступеньку дальше, а не просто поставить все с ног на голову; должны быть готовы к переворачиванию этого процесса, последующего, и так далее. Лишь отрицая непосредственные ощущения, вы начнете творить.

Когда он вновь умолк, я ощутил тепло, выделяемое его мыслями, вырабатываемое его кровью. И мне вовсе не хотелось, чтобы он ушел из студии и вернулся к своей герметичной жизни, к путешествиям с места на место, – наоборот, хотелось слушать его еще. Я был загипнотизирован. Он мог бы задушить меня, и я бы не сопротивлялся. Я не смел взглянуть ему в лицо или в глаза, дабы найти источник этого притяжения. Я был покорен, уступчив, будто моя жизнь и устремления почему-либо нереализованы, сорваны. Я ощущал зарождающееся брожение авантюры. Этот человек мог увести меня к центру вселенной, свернув с главной дороги – металлической артерии, задушенной фурами, и вскоре уже покажется Лакост. Ворота и дом лоснятся от темного плюща, а нагая женщина сидит и читает у фонтана, теребя правой ступней сброшенную туфельку. Она и глаз не подымет, когда мы пройдем мимо.

– И позвольте вас проинструктировать, – продолжил он тоном, предвещающим монолог, – что именно мы зовем тенью. Темной стороной жизни, преисподней, изнанкой человеческой природы. Там-то и начинается исследование, Стивен. Вы вправе выбирать: присоединиться ко мне, а затем вернуться, обогатившись опытом, необходимым для вашего искусства, или же остаться на территории чувств, где вам так комфортно... Вы были для меня про-

сто именем: Стивен Воэн. Столкнувшись с вашими работами на той небольшой, но престижной выставке, я решил разыскать вас. Мне захотелось внедрить в ваши произведения нечто чуждое – импульс, что увел бы их от привитой эстетики. К тому же, я коллекционер – мое социальное положение это позволяет. Если бы я захотел Пикабиа, Мэна Рэя, Ива Танги, Брака, Кляйна или Дюфи, Китая или де Кунинга, я мог бы купить любую картину под настроение. Порой моя бунтарская натура предпочитает Уорхола или Тревора Уинкфилда – Боннару или Вюйяру. Я следую лишь своим инстинктам... Но в действительности меня интересует эротика. И я по-прежнему ищу художника, способного шокировать меня так же, как мои сочинения терроризируют традиционный вкус. Я пытаюсь найти визуальное воплощение своей скатологии, того, кто пробудит патологический миф, заключенный в копрофилии, содомии и обрядах, которые завершаются самыми экстремальными пытками. Вот моя теневая сторона. Хотите верьте – хотите нет... По одной из версий, я скончался в шарантонской психиатрической лечебнице. Меня изображают тучным, слепым астматиком, чье физическое вырождение усугубляется старческим маразмом. Но мне также приписывают изобретение игр для пациентов, наряду с сочинением пьес, каковые исполнял душевнобольной актерский состав. Биографы все же допускают эту искупительную деталь, компенсирующую моральное разложение. Вы представляете, как я громыхаю реквизитом, священнодействую на генеральных репетициях, хрипло кричу на неосвещенной сцене? Писательство – нечто иное. Большинство моих пьес утеряны. Сегодня я сохраняю все написанное на жестком диске. Понимаете, мне всегда приходилось быть важной персоной, но никогда – просто никем. И так будет всегда.

95

Я позволил ему вновь пересесть на его конька. Он забредал вглубь, в потоке размышлений искал ориентиры – вехи, что поднимались и требовали внимания. Он столько всего перевидал, так далеко ушел, спустился на самое дно ночи – и с чем же вернулся? С крысой в пригоршне? Золотой свастикой? Голубым метеоритом, упавшим с голубых

небес? Я откупорил бутылку виски «Блэк Буш» и наполнил стаканы. Вначале он не заметил и, лишь осушив свой стакан одним махом, понял, как много я налил.

96 – Я – основоположник оккультной сексуальной геометрии, – продолжил он. – Каждому человеку дается частная сфера – измерение, в котором он действует независимо от общества. Лишь за эту область он несет ответственность перед собой. Она словно темное пространство внутри шкафа. Эта черная глыба давящего воздуха могла бы нас испугать. На изнанку вещей нет ответа. Они находятся по ту сторону чувственного восприятия. При половом акте приходится воображать то, что ощущаешь. Находишься где-то и в то же время нигде. Мне хотелось воплотить эту внутреннюю головоломку, все обнажить перед взором. Этого люди и не могли принять: визуализации эротического эксперимента. Видение никогда не относилось к сексу. Математическая сторона эксперимента сложна. Если вы читали «120 дней Содома», то, наверное, помните сто пятьдесят Сложных Страстей. Для интерпретации моих фантазий понадобится картина масштаба «Герники» Пикассо. Двадцать семь могли бы послужить предметом изображения: «Он целует сраку одной девушки, пока вторая занимается тем же с ним, а третья трудится над его хуем. Затем они меняются ролями, и в конце каждому из трех кто-нибудь целует жопу, каждая трудится над его хуем и трахает его в жопу». Просто, экономично, но вызывающе индивидуально.

Этот человек все прозрачнее намекал на свои внутренние резервы, и я сочувствовал ему все больше. Определенная степень бесчинства выбивает из колеи. Ему удалось найти во мне слабинку, подавленные мотивы: если их разблокировать, они откликнутся на его фетишистские наклонности. Я налил себе виски и добавил ему так же щедро. Не терпелось выслушать продолжение.

– Если вы почитаете мою биографию – все эти искаженные и ошибочные попытки навязать времени вымышленный шаблон, не актуальную, а ретроспективную хронологию, – вы узнаете, что я опубликовал эту книгу уже после пятидесяти. Я нуждался в деньгах. Заключение и револю-

ция довели меня до нищеты. Я встретил молодого издателя Жируара – так же, как и я, он интересовался коммерческой выгодой. Революция зажгла над Парижем вечный красный закат. Багровое небо – денно и ночью. Днем обезглавленные тела шагали по улицам, а ночью переходили мост. Воздух был напоен кровью – запахом и плотностью крови, что лилась из сонных артерий. В голубом небе висело пунцовое пятно... У меня уже были две книги, готовые к печати. Сентябрьская резня удобрила почву для моих произведений. Расчлененные тела, варварская коллективная истерия, что подзадоривала гильотину, жестокие зверства черни отразились в сочинениях, которые иначе были бы запрещены. Возможно, вы помните подробности. Как одну женщину умышленно заразили сифилисом и зашили все отверстия на ее теле воцеленой нитью. Мое воображение – точный слепок времени. Все, что я фантазировал, постепенно становилось реальностью. Типография Жируара находилась на рю дю Бу дю Монд. По дороге туда меня не покидало ощущение, будто за мной следят: в голове слышались шаги, из переулков косились лица. В неосвещенном закутке мужчина ел жареную собаку с таким аппетитом, словно курицу. Речь шла об «Алин и Валькуре». Книгу уже начали печатать, я слышал запах типографской краски, но Жируар симпатизировал роялистам. В последний раз он был нервный и желтый, ни на чем не мог сосредоточиться: озабоченно открывал и закрывал ящик стола – с равномерностью метронома, словно желая убедиться, что уничтожил все. Но в памяти все осталось. Письмо и стопка бумаги самим своим присутствием – реальным либо мнимым – уличали владельца... Было холодно, на мостовой сверкала голубая изморозь. Воздух, вылетая из легких, клубился белыми бивнями. Когда я вышел на рю дю Бу дю Монд, оказалось, что типография заколочена. Я все понял без лишних расспросов: Жируара гильотинировали 8 января 1794 года. Его голова присоединилась к прочим волосатым дыням, насаженным на штыри по всему городу, – жуткое напоминание массам, что за свою жизнь человек обязан платить кровью... Когда занимаешься подпольной, подрывной, маниакальной деятельностью, столетие пролетает в мгновение ока. Оно проходит, точно

слабое покраснение роговицы. Я искал предельного сексуального опыта – ищу его до сих пор. Возможно, выяснится, что ты лучше всего подходишь для моих экспериментов.

98 Наверное, я вздремнул. Виски все еще не выветрилось и сжало сознание до зерна величиной с орех. Поначалу мне показалось, будто я сам быстро бегу, разгоняясь над полями ретроспекции, пейзажами с козами на скалах, а затем, когда приглушенный гул двигателя чуть изменил тональность, я понял, что мы мчимся в машине по сельским просторам. Мы ехали на большой скорости, я это ощущал, хоть и был вырван из привычной обстановки. Мы жарили на всех парах, солнце пробивалось сквозь листву платанов, и меня усыплял запах кожаной обивки.

Я медленно всплыл на поверхность и, даже не взглянув, понял, что он здесь. Он был все так же насторожен и спокоен, словно не нуждается в сне и бодрствует столетиями, ширясь амфетаминами в ванной и приспособивая свой метаболизм к дневным потребностям, к долгому бдению ночами напролет.

Он ждал этой минуты. Мне почудилось, что это повторялось из раза в раз: человек и его новоиспеченный последователь устремляются в Лакост, столетие не имеет значения, речь записана на магнитофон, бесшумно размазывающий свои намагниченные петли от А до Я. И не я ли узнал эту дорогу прежде – это неумолимое принуждение, когда человек постепенно утверждает свое присутствие, а поля бросаются в окно, проносясь мимо?

Увидев, что я очнулся, он продолжил свою речь, будто и не было никакого перемещения, никакого перерыва в монологе, а лишь мельчайшее отвлечение от темы. Я заметил в его руке рифленый бокал, в котором шипело шампанское. Мужчина был надушен одеколоном, но я не мог вспомнить название. Аромат требовательно сказал «знаю», но затем отступил, противодействуя, подольщаясь, игнорируя мою обонятельную интерпретацию. На дороге стояла коза. Нам пришлось остановиться. Животное укоризненно поковыляло прочь, ошеломленное возможностью столкновения с автомобилем. Их встреча на земле не была предусмотрена, если не считать кошмара металла, грызущего кость.

Он снова говорил – эта загадка по имени де Сад, человек, который шокировал столетие за столетием своей апологией сексуальных пыток. Наверное, он хотел, чтобы я писал картины у него дома, раскрыл в себе извращенный физический космос, к которому он так привязан.

– Еще полчаса, и мы будем на месте, – говорил он. – Однажды после ареста мне сообщили, что меня запрут наверху в черной комнате, заваленной трупами. Так я и жил – в черных сотах. Внутри у меня были свои мертвецы. Если бы я верил, что однажды умру, то написал бы мемуары – самые шокирующие в истории. После того, что я сделал и продолжаю делать, обратной дороги нет. Но пока я жив, масштабы моих поступков меняются, ведь кое-что я предпочитаю скрывать. Я могу справиться с этим путем сочинительства. Могу раскрыть тайны природы, невыносимые для человеческих нервов. Всегда существовали Черные книги. Оккультные секты, диктаторы, порнографы утаивали их, боясь разоблачения, – возможно, ученые так же скрывают лекарство от смерти. Можете считать, что у меня в Лакосте есть подобная вакцина, и ее клеточная алхимия препятствует старению.

99

Я улавливал обрывки речевого потока, слышал, как синтаксис просачивается в голову. Не хотелось возвращаться в студию и писать, устанавливая нелепые связи между красной тыквой, серебристой пирамидой и черным квадратом. Эти образы из моей последней работы всплыли в памяти вместе с коллажем, где я размещал убийства Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и Джона Леннона над пунцовой линией нью-йоркского горизонта. Уже казалось, что эта работа – из другого времени, другого места, другой жизни. В глубине души я убедился, что нашел своего учителя, сексуального гуру. Эта информация закодирована в моем подсознании онирическим опытом – снами наяву, в которых я шагал по затененной дубовой аллее к замку в сопровождении человека, вживившего свой третий глаз, точно голубую драгоценность, мне в спину. Обычно я представлял себе сапфир в глазке его пениса.

– Там, куда мы направляемся, у вас ни в чем не будет недостатка, – продолжал он. – Что бы вы сделали, узнав,

что в моем замке хранится сыворотка, наделяющая бессмертием? Попросили бы впрыснуть вам капельку?

Вдруг он осунулся и повернул голову полукругом, чтобы взглянуть туда, где что-то нечаянно завладело его вниманием. Дерево, указатель, жестянка, выскочившая из-под шины? Мы были на месте.

100 Обнаженная женщина в пурпурных кожаных сапогах до бедер открыла ворота, отягощенные плющом и не-отличимые от высокой живой изгороди вдоль проезда. Идеальная маскировка. Мы медленно поехали по аллее. Если бы окна машины были открыты, мы бы услышали прибой листьев, задиравшихся на ветру, увидели бы изнанку листвы тополей и платанов, сверкавшую серебром. Мне не позволили взглянуть на готический фасад. Машину отогнали в гараж в подземных глубинах дома. Фары выхватили из тьмы пространство, пропахшее маслом, закупоренным воздухом, что бродил в подzemелье. Убежище мизантропа.

Мы поднялись на лифте и очутились в его спальне. Стены выкрашены в лавандовый цвет. Мебель – черная, с позолоченной инкрустацией. Помещение казалось холодным и безличным, словно там редко жили, – ни намек на человеческое тепло. Нас словно полностью отрезали от мира и замуровали в звуконепроницаемой зоне, мы вступили в иное измерения бытия. Никто не мог вторгнуться в до-тошно разработанный интерьер этого человека. Он словно спрятал свой замок в сейф и зарыл это вместилище в земных недрах.

Де Сад был привычно безразличен, любая ситуация способствовала его благополучию. Ощущалось его присутствие – то неподражаемое высокомерие, что подмечаешь на фотографиях Мэна Рэя, изображающих засвеченную Ли Миллер или Нуш Элюар: четыре глаза – как дождевые капли – принадлежат маркизе Кассати, обручи браслетов бегут вверх и вниз по рукам Нэнси Кунар, а взгляд отсутствует, все мысли загнаны в черную дыру, которую мы зовем забвением.

Вошел дворецкий и вручил де Саду несколько писем, а также кассету в пластмассовой коробке.

– Я поставлю ее позже, – сказал он, – для вас это будет откровением. У меня целый архив записей, во многих раскрываются сексуальные секреты кинозвезд, знаменитостей, королевских особ, актрис, вуайеристов – практически весь социальный спектр людей, проявлявших интерес к тому или иному причудливому фетишу. Существуют непостижимо странные пристрастия, но лишь немногие могут сравниться с моими. Все, что столетиями творилось в Лакосте, есть ненаписанная по сей день сексуальная история вселенной... А привез я вас сюда для того, чтобы вы фотографировали и изображали эти оргиастические излишества. Вы получите студию со смежной фотолабораторией. Возможно, из осторожности вы пожелаете наблюдать в полупрозрачное зеркало. Я выбрал вас не для участия в сексуальных обрядах. Вы будете просто созерцать, обдумывать и творить. Я отниму у вас два месяца жизни. Вам заплатят за эту паузу. Позвольте сообщить, Стивен, что отныне и вплоть до вашего отъезда вы официально считаетесь без вести пропавшим. Друзья не найдут никаких следов, не получают от вас ни весточки. Этот замок, Лакост, был разрушен в 1790 году. Для публики он остается грозным напоминанием о человеке, которым я, по ее мнению, был. В параллельном измерении я комфортно живу здесь каждую осень. В будущем вы можете встретить меня в одной из двадцати столиц. Я скрываюсь под множеством имен и занимаюсь различной деятельностью, но всегда и повсюду я – Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад. На этот счет нет никакой двусмысленности. Не могу утверждать, что ваша жизнь не изменится после пребывания здесь: она, конечно, изменится, но слабо и незаметно – это касается лишь клеток памяти и восприятия времени.

В студию со спальней меня отвела девушка в черном шелковом цилиндре и леопардовом леотарде. Она балансировала на алых восьмидюймовых каблуках. Я уже разъединился со своим прошлым, словно мое восприятие снов и яви сдвинулось. Я будто пребывал ни в том, ни в другом состоянии, а переживал какой-то автономный транс. Мои физические реакции казались механическими, я настроился на смазанную, смещенную гипнагогическую образ-

ность. К тому моменту, когда я добрался до своей комнаты в дальнем конце спирального коридора, которую освещали приглушенные зеленые лампы на потолке, от ярких цветов у меня помутилось зрение. Словно кто-то включил внутри цветовой рубильник. Галлюцинаторными сверхновыми взрывались фиолетовый, изумрудный, алый, шафрановый, багрово-оранжевый и пурпурный. Но все это не внушало страха. Я был зрителем буйных пиротехнических кинокадров: трехмерные образы фелляции; исполинские бедра, свисающие с толстых лиан; слон, шагающий по облакам, точно у него под ногами – снег. Никакая доза ЛСД или ее фальсификата, «экстази», не породила бы столь динамичный паноптикум. Я увлекся визуальной фантазмагорией. Я постиг, что центр вселенной – не черный, но светящийся. Все глубже погружался я в пространство, и все ярче становились цвета расширяющейся неизвестности. Микроструктура клетки повторялась в галактических мегатонах пылающих планет: квантовый скачок – от корпускулы к звезде – заключался в визуализации.

Я сел на кровать и прислушался к мыслям. Они таинственно гудели – жужжали, точно пчелы, допрашивающие внутренность львиного зева. Все, что происходило со мной внутри, укрупнялось звуконепроницаемыми глубинами замка. Мое сердцебиение напоминало барабанную дробь в горах. При малейшем движении комната оглашалась звуками тревожного тембра. Не задумываясь, я понял, что выпал из хронологии, навязанной времени моими друзьями, рутиной моих трудовых будней. Здесь могло произойти что угодно. Де Сад рассказал о тиграх, которых держал в замке, и это не давало мне покоя: я не знал, идет ли речь о сексуальных партнерах, переодетых большими кошками, или же он подразумевал настоящих зверей. В этом измерении возможно все: цирк, театр, человеческий зоопарк, зверинец для извращенных удовольствий, клонирование образов в трехмерные отражения. Лакост вибрировал от фантазий де Сада – описанных и воплощенных. Невозможно отделить одно от другого. Сон и явь заменяли друг друга.

Однажды я сидел у себя, за окном нависало желтое осеннее небо, и вдруг я наткнулся на любовное послание.

Оно датировалось 22 марта 1779 года. Я не знал, в каком году мы живем, и поэтому письмо показалось мне актуальным, как будто он набросал его только что:

Новый Год прошел, а ты так и не навестила меня. Я прождал весь этот долгий день. Я привел себя в порядок – нарядился, надушился и надел не меховые сапоги, а зеленые шелковые чулки, красные штаны, желтый камзол с длинными черными фалдами и вышитую серебром шляпу. Словом, выступил в своей роли аристократа. Тебя ожидал целый полк банок с вареньем, и я даже подготовил небольшой концерт: три барабана, четыре литавры, восемнадцать труб и сорок два рожка...

103

Этот человек нечаянно показал мне другую сторону своего характера. Самоуважающийся романтик, вынужденный лицемерить, изображая из себя любовника, был тем же человеком, который ел крыс, пойманных в шарантонской камере, и ставил клизмы женщинам, что, переодевшись монашками, выстроились в очередь у его тайной комнаты.

Мне не раз удавалось заглянуть в его прошлое. Когда он приходил ко мне, дабы просмотреть груды фотографий или взглянуть на недавно законченную картину, я почувствовал, что он оставит после себя какую-нибудь улику, удостоверяющую его личность. Он был так современен, сидя перед своим словопроцессором IBM, пробегая глазами на синем экране белые строки бесконечно длинных романов, которые писал, редактировал, исправлял. Приходилось совершать огромный скачок во времени, чтобы представить, как он тщательно выводит пером письма – своим мелким почерком.

Кое-что я читал урывками: он возвращался неожиданно и бросал взгляд туда, где оставил письмо. Забирал его без объяснений и исчезал в одном из бесчисленных закутков подземного лабиринта под замком.

Я помню его искрометный юмор:

– Пока я не буду реабилитирован, в провинции даже кота отшлепать не дадут, без того чтобы кто-нибудь не сказал: «Это все Маркиз де Сад».

Отрывок из письма к жене: «Ты прекрасно скачешь в обратном направлении, умеешь возбудить, у тебя тесные воротца и теплый анус, а значит, мы идеально подходим друг другу».

104 Я работал один в фотолаборатории или студии. Приходилось печатать увеличенные этюды мужских и женских эrogenных зон, сложных геометрических фигур, создаваемых во время оргий, которые де Сад устраивал в комнатах для эротического самовыражения, как участник или соглядатай. Я пользовался отверстиями для камер, которые де Сад вмонтировал в просмотровую комнату. Я видел все, но всегда оставался невидимым. Я работал с незримым присутствием, учился отрешаться от наблюдаемого и порой узнавал кого-то, несмотря на маску, надетую из предосторожности: поп-звезда, медиа-фигура, министр? Самые разнообразные люди прибывали сюда анонимно и уезжали, не догадываясь, что их оргиастические излишества де Сад снимал на видео, а я вдобавок фотографировал. О моей работе де Сад говорил:

– Это для архива. Ваш вклад будет изучен в грядущие столетия. Здесь, в Лакосте, я проектирую новую породу, которая возникнет благодаря определенным сексуальным обрядам и анатомическим сведениям. Мы создадим новые физиологические формы.

В перерывах между работой я сидел и прислушивался. Я ждал, что кто-то поможет мне освободиться. Меня постоянно занимала мысль о том, когда и как это произойдет. Вероятно, он и сам находился в таком же положении несколько столетий назад: неустанно прислушивался к шагам кожаных сапог и звяканью тяжелых ключей на кольце. Сегодня или через сто лет откроется дверь, впуская свет, а тюремщик отвернется, скрывая лицо: сапоги пахнут ваксой, на мундире – ни единой складки.

Я работал столь же отрешенно, как и при нервном расстройстве в художественном училище. Во время той болезни все казалось нереальным. На какой бы предмет физического мира я ни взглянул, он был со мной не связан. Если я даже становился на четвереньки и касался травы, земли, камня, упрятанного в неподвижной матрице, все

это по-прежнему не обладало ощутимыми свойствами. И теперь, когда я изображал сфотографированные сцены, укрупняя тот аспект фетишистской мании, с которым де Сад меня уже познакомил, я писал все равно что с расстояния в сотни ярдов. Я не мог вступить в контакт с материалом или пощупать его. Мое чувство времени, внушенное дисциплиной и ежедневной привычкой, словно сопротивлялось ассимиляции вневременностью.

А по ночам они стучались ко мне – девочки и мальчики, присланные де Садом, дабы распалить меня своими костюмами и разнузданными жестами. Я прогонял девушку в вуали с мушками, алых подвязках, черных шелковых чулках и на шпильках. Другая приходила к моей комнате в сетчатом трико, еще одна – в просвечивающих трусиках, а за ней следовал мальчик в облегающих кожаных шортах: он подбоченивался, в накрашенных пухлых губах цветочным стеблем торчала сигарета. Но я устоял против всех. Я стал ассоциировать секс с понятием бессознательного, что, в свою очередь, могло сделать меня беззащитным перед экспериментами с той сывороткой, о которой упоминал де Сад. Что если он действительно обладал раствором, позволяющим жить вечно? Быть может, в следующем столетии я окажусь рядом с этим человеком в его машине, мы будем чуть ли единственными, кто уцелел в ядерной катастрофе, и наши тела нежно прижмутся друг к другу за неимением выбора?

Ночь за ночью прогонял я их: женщин, мужчин, трансвеститов, транссексуалов – новый контингент, который де Сад привозил в замок. Лица чередовались или исчезали. Что происходило с ними после того, как они покидали Лакост? Это всегда меня занимало. Быть может, они чужаками разбрелись по свету, не в силах найти пристанище, но одержимые иллюзией, что когда-нибудь вернуться в замок де Сада? Только им не удавалось туда добраться, а если и удавалось, они видели остов, развалины, что устояли под разрушительным действием времени, но остались всего-навсего руинами. И наверное, не в состоянии этого понять, они уходили, отчаявшиеся, обезумевшие, измученные.

Но хоть я и отказывался от сексуальных услуг, в своем одиночестве я порой охотно вступал в беседу с гостями. Обычно я разговаривал с Матильдой – девушкой, которая являлась так упорно, что я был просто вынужден приглашать ее в студию. В черном лифчике с блестками и красной микро-юбке из ПВХ, она, похоже, была одурманена наркотиками и насильно втянута в эту затею. Поначалу она не желала говорить, но постепенно стала менее подозрительной и, расслабившись, доверилась мне: назвала свое имя, родной город и прежнюю профессию – парикмахер. Лицо у нее было размалевано, как у трансвестита, кожа покрыта золотистой сверкающей пудрой, юбка не шире пояса, а накрашенные губы напоминали покрытый блеском черный синяк. Однажды она в волнении отправилась гулять, словно в поисках невыразимого импульса, и внутренняя скорость опережала внешнюю, так что здания проносились мимо: кинотеатр, супермаркет, универмаг, граффити, накарябанные на треснувшей стене многоквартирного дома, а затем городские окраины – скверное окончание, приводящее на пустырь, где курсируют машины с опущенными окнами, в надежде кого-нибудь подцепить. Она вообще не сознавала, что куда-то идет, и ощущала себя лишь нескончаемым потоком мыслей. Она отключилась от реальности, и вдруг откуда ни возьмись появился автомобиль. Впереди остановился синий, как жук, «мерседес» – его глянцевитый панцирь отсвечивал закатным багрянцем.

– Ближняя дверца была открыта. Он ссутулился в дальнем углу, его лицо закрывали темные очки. На это я и поймалась. Резко остановилась и заглянула в салон. Я поняла, что мне придется сесть, я не буду задавать никаких вопросов, и меня увезут. Только так, и не иначе. Я не желала знать, куда мы едем и что происходит. Обычно такие мужчины предпочитают рестораны, ночные заведения, а затем отвозят к себе, на окраину города. Безымянный дом, деньги под подушкой, ожидающий шофер должен высадить тебя где-нибудь в полдень... С такими мужчинами никогда не бывает продолжения. Никакого второго раза, если ты не особенная. Всегда найдется кто-то другой,

и они дают тебе это понять. Люди – лишь пустоты, серия белых нулей с пунктирными глазками.

Она ушла в себя. Человеку нужна эта передышка, возвращение внутрь, словно в голове есть комната, где можно сидеть, составляя букеты и задернув шторы от солнечных лучей.

– Меня заставили сюда приехать, – неожиданно сказал я Матильде. – Ясно, что с тобой то же самое. Всему виной его магнетизм – наверное, он действует на всех. Тебя как бы растягивают над черной дырой. Вряд ли после этого остаешься прежним.

107

Матильда укусила алый ноготь, ослепительный, как Матиссов багрец. С минуту я не мог понять, поглощена ли она собой или следит за ходом моих мыслей.

– Знаете, нас ведь очень много, – сказала она. – Вы – в привилегированном положении. Вы совсем не понимаете, что здесь творится. Они приходят и уходят, иногда человек по сто. Он пичкает нас наркотиками. В самом начале грозился сделать мне укол, после которого я буду жить вечно. Представляете? Жить здесь без надежды умереть. Я не знаю, сколько нахожусь в плену. Может, я вышла прогуляться три дня, а может, три года назад. Тридцать лет или триста – какая разница? Еще мне говорили, что когда он выставляет тебя наружу, забываешь даже, кто ты такая.

Матильда, присланная сюда якобы для моего развлечения, расслабилась и поведала о себе и замке.

– Кто он? – спросил я. – Он называет себя маркизом де Садом – говорит, что победил биологический процесс умирания. Увековечил себя.

Матильда не ответила – ее унесло. Она поправляла верх черного кружевного чулка у ремешка красной подвязки с маниакальной сосредоточенностью, отчасти надеясь на откровение, вызванное идеальным фетишем. Она села на кровати, согнув обе ноги, так что стал виден изгиб чулочных швов, взглянула в зеркальце пудреницы на губы и вышла, словно мы и не знакомились.

Я проводил ее глазами по коридору. Возможно, она направлялась на другой конец света, а я вернулся в изоляцию под гнетущим впечатлением, будто работаю в освещенной

каюте на дне моря. Сколько это будет продолжаться? Однако мне не хотелось возвращаться к прежним дням. Я был бесповоротно разобщен с прошлым и настоящим. Неужели под конец я обвенчаюсь с этим человеком на зловещей церемонии в его театре?

108 Я взглянул на серию эскизов для картины, которая должна была называться «Темная комната 3». Лиц не было – одни зады. Таково было предписание де Сада; он соотносил себя лишь с этой невыразительной стороной личности. Обычно я питал отвращение к данной теме, совершенно не понимая подобных сексуальных предпочтений, но начал работу почти автономно. Я словно созерцал фотографию или живописный портрет другого человека – незнакомца, которого изучал без эмоций, объективно оценивая то, что рассматривал, с точки зрения техники.

Я привык к тому, что де Сад входил ко мне без предупреждения. Если я спал, он спокойно будил меня, вновь заводя свой привычный монолог. Всякий раз казалось, будто он продолжает наш предыдущий разговор. Я уже заподозрил, что у него в мозгу помещается магнитофонная кассета, которую он способен останавливать в определенном месте и опять запускать, сообразуясь с новым ходом мысли: от А до Б и обратно, в непрерывном цикле, очень похожем на его жизнь.

Он постучал с властностью человека, уже стоящего по ту сторону. В одном из своих любимых серых шелковых костюмов, оранжевой рубашке и черном галстуке с оранжевым «горошком». Его место в жизни всегда было слегка эксцентрично, словно его самоуверенность позволяла далеко отклоняться от насущных проблем. Отрешившись от настоящего, он уже стал будущим.

– Вы так и не удивили меня, – монотонно проговорил он. – Вы настолько закомплексованы, не можете изобразить то, что меня вставляет. В одну из этих ночей вы вернетесь в мир как человек, не избежавший смерти. Вы будете по-прежнему искать ключ к разгадке неразрешимой тайны жизни, останетесь поражены филогенетической памятью о смерти, вырождении клеток. Вы не продвинетесь ни на йоту. Будете вспоминать это время как интерлюдия

в своей жизни. Воспоминание о нем покажется вереницей образов, увиденных во сне. Наверное, именно так оно и настигнет вас – прерывистое, неопределенное: эпизоды, то ли произошедшие, то ли нет. И тогда вы отправитесь искать меня. Проведете годы в дороге, разыскивая Лакост, все наматывая и наматывая извилистые круги. Вы растратите деньги и жизнь в погоне за иллюзией. И, не удовлетворившись этим, продолжите поиски в других столицах, выясняя, жив ли я, описывая меня совершенно незнакомым людям, подкупая консьержей и охранников, дабы они впускали вас в дома, где я никогда не жил. И под конец вы станете бродягой, что ворует или лицедействует на улице. 109

Я прислушивался к его голосу – разумеется, он творил фикцию, образ жизни, на который я никогда бы не согласился. Тишина, наступившая после его слов, была столь гнетущей, столь громкой в артикуляции пустоты, что под ее напором меня отбросило как бы в замедленной съемке, точно я смотрел фильм с выключенным звуком. Будущего на мгновение не стало: некуда идти, потому что все места заняты. Попытайся я сбежать – заблужусь в бесконечном лабиринте тоннелей; выпусти меня из Лакоста – быть может, окажусь в неведомом столетии. В это я верил. Эта мысль завладела мною. В уме я видел, как вступаю во вселенную после Четвертой или Пятой мировой войны. Солнце серовато-красно, машин на дороге нет, деревни и города в руинах, разрушенные отголосками ядерного взрыва. Ни птиц, ни деревьев, ни знакомого пейзажа. Лишь города во прахе. Вереница скелетов, осыпанных хлопьями пепла, по-прежнему сидит на пляже в красных и зеленых шезлонгах. На окраине вымершего города пятьдесят тысяч зрителей рок-концерта стали одним коллективным шрамом, геометрией живого, что корчится в последней муке катастрофы. В некотором смысле я уже это испытывал. Я опередил настоящее и участвовал в том, что считал будущим.

На следующую ночь за мной пришла Матильда. Или, может, был день? В замке де Сада времени не существовало. На пурпурных кожаных каблуках, стянутая черной юбкой, в которую ее, должно быть, зашили, Матильда явилась

без предупреждения и без объяснений. Я понял, что должен идти за ней. Де Сад не видел от меня никакой пользы. Я возвращусь за пределы его сферы. Я следовал за Матильдой по коридорам, заходил в лифты, и это длилось бесконечно. Я уже подумывал, что выхода нет, что рано или поздно Матильда признает поражение и поместит меня в такую же комнату с такой же студией, где в лицо мне, словно взошедшая луна, уставятся часы без стрелок.

110 Мы исследовали один *impasse* за другим, запутывали следы, поднимались вертикально, и всегда горел один и тот же приглушенный свет, всегда нас окружали одни и те же звуконепроницаемые стены. Я как будто жил и умер на односторонней плоскости. Возвращаться было не к чему, да и не к кому, моя память существовала, лишь пока я жил в Лакосте. Я был продуктом разума де Сада, спутником, рожденным его фантазиями. Безличное окружение, лабиринт, как в терминале аэропорта.

А затем вдруг открылась дверь, и хлынул свет. Я обернулся к Матильде, но она исчезла. Я очутился посреди поля. От яркого света болели глаза. Дышал я очень часто. Первая мысль – побежать обратно и укрыться в здании, откуда я только что вышел. Но его больше не было. Вдалеке я услышал машину на дороге, спустя долгий промежуток – другую, и устремился туда. Кто-нибудь, решил я, поедет в направлении жизни – к столице. Я смогу пересмотреть свое прошлое, понять, зачем находился здесь. Над головой – по-настоящему голубое небо. Пара облачков застыла и никуда не двигалась.

Мы начинаем сначала. Не много лет тому назад, а сейчас, в эту самую минуту. Я – кто-то и никто: лицо, прикрытое черными зеркальными очками за пуленепробиваемыми окнами своего лимузина. Как я сюда попал, почему я всегда в дороге, проезжаю по спящим городам – Амстердам, Кельн, Штутгарт, – точно розовый огонек, что пробивается сквозь иссиня-черную зарю? Мы никогда не останавливаемся. Подобно моему сердцу, этот двигатель будет работать вечно.

Кто я? Рискну повторить: Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад.

В ту зиму отец вызвал меня в Париж, и я поспешил к нему: здоровье его пошатнулось, и перед смертью он хотел увидеть меня устроенным; этот план и городские удовольствия отвлекли меня... Два года я провел в погоне за своими навязчивыми идеями.

Можете считать это автобиографией, как и тот факт, что в четыре года я поселился у своей бабушки в Авиньоне. Или что в десять вольнослушателем посещал коллеж Людовика Великого. Там я изучал музыку, танцы, фехтование. Я также потратил кучу времени, рассматривая картины в Лувре: Тициан, Тинторетто, Веронезе – их имена устояли перед эрозией. Сегодня я, возможно, предпочел бы Ива Кляйна, Хокни, Лихтенштейна. Мое настроение меняется вместе с воспоминаниями о прошлом, длящемся настоящим. Передо мной разворачивается дорога: вот здесь атомная электростанция, а вон там – силосная башня величиной с самолетный ангар, и в седеющем поле маки прокладывают огненную тропу из красного шелка. Будущее похоже на непрерывное кино – мне нужно видеть лица, перемены, катастрофические катаклизмы. Эта девушка в кожаной кеп-

ке и серебристом костюме на «молнии» вдувает сигаретный дым своей любовнице в рот. Их поцелуй – точно соединение двух алых овалов. Я – недреманное око, не пропускающее ни одного полового акта. Разве мы не движемся в полисексуальное будущее, предсказанное мною в «120 днях Содома», – в мир множественных эротических перестановок, что отличаются, как минимум, той степенью терпимости, к которой я подстрекал в своих сочинениях? Если машина сбивает пивную банку с бугра на дороге, я вспоминаю о бренности бытия.

Во времена, когда я считал себя тленным, ограниченным временными рамками, осознавал вырождение своего организма и свою изоляцию в камере, я пытался отстаивать посмертное признание, словно это могло что-то значить в мире, где миллионы не только рыли себе могилу, но и обдумывали прошлое: так зачерпывают песок в аркашонских дюнах и просеивают его искрящиеся гранулы сквозь пальцы. Мне хотелось славы, которую я пережил, продолжая творить жизнь и создавать свод произведений – по сию пору неизвестный. Ведь это я написал:

Мне хочется найти преступление, которое имело бы бесконечные последствия и резонировало бы после моей смерти, дабы в моем будущем не было ни минуты, когда я не порождал бы хаос, диверсию, равносильную революции, перверсию, благодаря которой мое имя жило бы в веках.

Сегодня я подкорректировал бы свои намерения:

Ищите меня после конца света. После ядерного взрыва и гибели планеты. Моя машина будет стоять на краю утеса. Я стану любоваться радиоактивным закатом, а мужчина в голубом платье с блестками будет сидеть у меня на коленях.

Разве это утверждение хоть на каплю правдоподобнее предыдущего? Разве все мы – не вымышленные воплощения, пытающиеся доказать свои притязания на реальность? Сегодня вечером я могу оказаться в парижском «Ритце», а могу и припарковаться у поля. Любовники в соседней

машине так увлечены, что не замечают меня. Их открытое окно выпускает холодный ночной воздух. Голос женщины звенит, словно клавиши фортепьяно. Ее щекочут – так пианист касается слоновой кости.

Я вдыхаю ароматный воздух. Он пахнет ромашкой и пижмой. Ночь – книга, в которой мы пишем драконьей кровью. Я бы не удивился, если бы по полю пробежал, вопя о катастрофе, человек в белой маске, сквозь которую сочится кровь. О какой войне он возвестит? Об одной из тысяч, пережитых мною, или о телевизионной ядерной атаке, мощном ударе, который наблюдают зрители, не осознающие, что они – очевидцы собственной смерти и гибели планеты? Вымысел Балларда, ставший историческим фактом. 113

Мой мир и – ваш. Ударившись в крайности, я мог бы сказать «наш мир», хотя это правда лишь наполовину. Я – один из неассимилированных. Процесс начался еще в детстве, когда мой кипучий нрав столкнулся с молодым принцем Луи-Жозефом и, раскачав его костяк, сместил с физической оси; мое тангенциальное цепляние за жизнь приведет к какой-нибудь эсхатологической катастрофе. Порой я придумываю акт последнего безумия, представляю того, кто взорвет планету, но будет невосприимчив к последствиям. Куда потом идти, что делать? Тот же шофер поведет машину, прокладывая путь среди развалин после ядерного взрыва? Найду ли я по дороге газетный киоск, избежавший ослепительной вспышки, и фотографии голозадых девиц в «Плейбое», «Мэйфэре», «Пентхаузе», по-прежнему расставленных для привлечения толпы в час пик? Или где-нибудь в бетонном пригородном зиккурате – магазинные манекены на обочине, обозначающие то место, где когда-то стоял универмаг?

Едва перестанешь думать, воображать непрерывность, как тотчас вторгается бездна. Кинокадры – словно черные скачки в визуальной последовательности. Позади на дороге промелькнула полицейская машина с приглушенными фарами. А если бы остановилась? Я – безупречный знаток *haute couture*^{*}, неотразимый образец бесспорной элегантно-

* Высокая мода (фр.).

сти и уравновешенности. Догадается ли снисходительный скот в полночно-синей форме, что столкнулся с пассажиром, которого останавливали на дорогах Савойи в восемнадцатом столетии? Карета прыгала по грязным колеям, лошадей хлестали кнутом, они исходили пеной, и возрастало невыносимое ощущение, будто мы неподвижно стоим на движущейся дороге. А я кричал, КРИЧАЛ, дабы стряхнуть с себя мнимую инертность. Не расчисти мы границу, меня возвратили бы во Францию в цепях и провели бы по улицам Парижа, точно циркового медведя, – человека, опущенного за фиксацию на анальном сфинктере. Козел отпущения, пария, которого заставили пострадать за лицемерие эпохи. Разве политики – не елейные паразиты на финансовой язве, на ране, которую они оставили за собой: целый кабинет, сосущий кровь через соломинки для коктейлей?

С годами я читаю все больше книг о себе. «Безумие де Сада заключалось, скорее, в отказе сходить с ума, когда все и вся обрекало его на сумасшествие». Однако в то время я был каменным – петроглифом, начертанным на стенах Бастилии, Венсенна, Шарантона. Человеком со свернувшейся кровью. Я довел себя до белого каления, и Бастилия взорвалась вместе со мной. Мой оргазм поднял на воздух Париж.

Сегодня мы поедem дальше. У меня есть апартаменты – Лакост, но нет конечного пункта. Летнее солнце все так же печет; раскаленный полдневный зной опалает, а по ночам нечем дышать. Нужно дожидаться осени – цикличного возвращения сексуального неистовства. Через час гроыхнет. Я уже слышу первые раскаты. Вначале будто валун покатился с вершины в ущелье, а затем грохот перерастает в блуждающую волну, она бьется в бухте. Осенние грозы в Лакосте – идеальный аккомпанемент для наших ночных оргий.

Осень – пора грибов и поганок с их фаллическими коннотациями. Вспомните мое творение – великана Минского и мое описание его пениса: «колбаса дюймов восемнадцати в длину и шестнадцати в обхвате, увенчанная багровым грибом шириной с тулью шляпы». Это отнюдь не тератологические фантазии, но обостренное восприятие, при котором лист трепещет с амплитудой звезды, муравей вы-

растает до размеров бегущего в панике слона, а стручок распухает удушающей лианой. От прилива адреналина все схлопывается. Так же и в сексе. Фантазии невероятно многогранны и грозят захватить наше телесное пространство; они столь колоссальны, что вытесняют нас наружу – в иное измерение. Японская девушка, расставив ноги, будто ножницы, разрезает тебя и улетает на Марс.

Возможно, вернувшись к самому началу, к внутриутробному ожиданию, предчувствуя будущее, которое еще не настало и не настроилось на свою карму, я осознал бы, что отправляюсь в бесконечное путешествие. Д.-А.-Ф. де Сад. Человек, освобожденный от навязанного имени, от неумолимого позора, что неотступно меня сопровождал. 115

В Лакосте у меня есть видео-архив, где я монтирую восстановленное прошлое с настоящим. Я потратил кучу времени на то, чтобы вновь разыграть сексуальные сцены, описанные в «Жюстине», «Жюльетте» и «120 днях Содома», переводя их с вербального языка на визуальный, с воображаемого – на эротически инсценированный. Тут есть расхождения: язык, подобный сексу, обновляется непрерывно. Анатомия тоже изменилась: соблазнительная пухлая плоть, явственная даже у моих несовершеннолетних, вытеснена поджаростью – расой, знакомой с аэробикой, с гимнастическими силовыми тренировками, саунами, джакузи, косметической хирургией. На пленку засняты приблизительные реконструкции разнообразных моих достижений. Не меняется лишь направление. Я всегда вхожу сзади. Понимайте, как хотите. Только помните: о епископе в «120 днях» я написал, что «совершая одно преступление, он тотчас замышлял следующее».

Когда читаешь о себе самом, тебе словно представляют незнакомца. Однако я слежу за новинками. Вслед за Лели, Фуко, Батаем, де Бовуар и Клоссовски, в книге Анни Лебрен «Soudain un bloc d'abîme, Sade»^{*} я обнаружил ту симпатию, что редко встречалась у предшественников. Эта теоретическая книга доставляет мне наслаждение, диалектика в ней смягчена лиризмом поэта. Я мог бы позвонить

^{*} «И вдруг обломок бездны, Сад» (фр.).

и договориться о встрече, но она не поверит, что это я. Она исходит из предположения, что я умер и корпус моих сочинений может еще включать лишь вновь открытые, но никак не добавления из будущего. Де Сад превратился в швейцарское озеро – водоем, у которого можно измерить ширину и глубину; причем такой голубой, словно в этот овал непрерывно падает небо.

116 Сегодня вечером мне хочется уединиться в гостиничном люксе. Мне столько всего нужно просеять – мысленно и физически. Я лежу на кровати, в белых носках и черных балетных туфлях – удобный и элегантный стиль, и весь мир в моем распоряжении благодаря телефону.

Ночь – небесный потолок, усеянный созвездиями воспоминаний. В моей руке шипит бокал; отель изолирован темно-зелеными коврами. Бесшумный лифт незаметно пересчитывает этажи. Если бы время сыграло шутку и запечатлело, будто на фотоснимке, всех, кто оттуда выходил году примерно в 1930-м, я, наверное, услышал бы негромкий стук в дверь, что возвещает о приходе Адольфа Гитлера, Антонена Арто, Алистера Кроули, а три десятилетия спустя – Мика Джеггера, Р. Д. Лэйнга и ребенка с татуировкой звезды на левом плече, который не отзывается ни на одно имя и гонит по ковру серебристый мяч. Он один из западных революционеров, поклявшихся отомстить тем, кто упразднил оккультизм как первичную мотивацию мировых правительств. Еще есть четвертый, который приходит позже: Уильям Берроуз в шляпе, надвинутой на ястребиное лицо, и шелковом галстуке, выбившемся из-под воротника рубашки «Брукс Бразерс», – болезненные черты героинщика, схожие с куриной грудкой. Он – ходячая паутина с протяжным южным выговором. А пятый? Возможно, Жан Жене: седая голова зэка склонена, небольшая фигура в помятой коже и джинсах, в глазах – осень, утрата, смена лет, за которой наблюдаешь из неизменного заточения камеры.

Останавливаясь в отеле, я бронирую целый этаж. Поэтому я предоставлен самому себе. Звуковой сигнал соединяет меня с шофером, другой – с врачом, и так далее. А что «Жюльетта» – роман, который даже 10 января 1957 года Книжная комиссия объявила «оскорблением общественной нравст-

венности»? Я беру новый перевод и думаю, как сильно он проигрывает тому варианту, что у меня на диске.

Я буду время от времени давать ей пощечину, содомя дорогую крошку Эглюю, а двое мальчиков – по очереди зондировать мою жопу, пока я буду вырывать волосы из пизды сначала у Анриетты, а затем у Лолотты, наблюдая, как Линдану и Жюльетту имеют два невозмутимо-бесстрастных юноши: одну – в пизду, другую – в сраку.

117

Никто никогда не читал моих книг – по крайней мере, от начала до конца. Читатели открывают их наугад, ищут определенный фетиш или отшатываются в омерзении от скатологической тематики. Но если вы завершите путешествие, следуя вариантам и перестановкам, то по-новому осмыслите вселенную, очищенную в результате примирения ваших комплексов с естественными потребностями. Среди современных романов похожее сознание есть в «Автокатастрофе» Балларда – книге, где эротика связана с травмами и гибелью на дорогах: две машины сталкиваются лбами на периферийных шоссе, ведущих в Хитроу. Жертвы аварий кайфуют от ушибов и принимают экстремальные позы: они обвиваются вокруг металлических внутренностей или выбрасываются на грубую бетонную поверхность. Я читаю всё, уверяю вас. Анонимная жизнь вне времени, места и исторических ассоциаций обеспечивает меня до сугом. Но я требую вовлеченности, динамики, строк, адреналином гудящих в венах. Самодовольство – заклятый враг творчества. Писать – все равно что шагать босиком по битому стеклу: кровь напоминает о боли.

В 1799 году «Журналь де Пари» и все газеты сообщили, что я умер. Так СМИ попытались избавиться от меня. Коль скоро автор «Новой Жюстины» и «Жюльетты» скончался, скандал вокруг книг, от которых я уже отрекся ради собственной безопасности, гораздо легче погасить. В том же году я остался без средств, и меня выселили из сент-уанской квартиры под Парижем, ставшей моим временным пристанищем. Быть может, это страх вызвал шизоидное раздвоение личности, или я настолько отмежевался от своих

произведений, что мог приписать их авторство незнакомцу? Я пытался получить место хранителя музея или библиотеки, дабы содержать Мари-Констанс, с которой жил. В действительности мы почти бродяжничали, мою шелковую рубашку обменяли на дырявую льняную, перчатки испачкались в уличной грязи, а затем перчаток не стало вовсе – остались только поврежденные пальцы, и на руках появилась синевато-пурпурная сыпь. Спустя недели и месяцы я уже не мог на них смотреть. Белые перчатки, которые я ношу теперь, напоминают о том, что нужно всегда беречь эти самые чувствительные органы. Они покрыли тысячи миль бумаги. Они были балансировочными болтами моего разума. Правая рука служила мне в Бастилии, вопреки изнеможению и такому полярному холоду, что на запястье вырастал браслет из голубого льда.

Накануне Нового, 1800-го года меня подобрали на улице – я умирал от голода. Я мог бы проглотить что угодно: труп бродяги или пасюка, конский хрящ, брошенный в мусорное ведро на мясном рынке. Но мною завладела навязчивая фантазия съесть самого себя. Больше ничего не оставалось. В наши дни люди продают кровь, чтобы выжить; вот и я собирался уменьшиться, расставаясь с собой по кусочку в ходе автоканныализма. К тому же мои долги росли в геометрической прогрессии. В результате развода я должен был Рене-Пелажи сто шестьдесят тысяч ливров. Единственный мой адрес – позади версальского сарая. Писать стало труднее, ибо посягнули на то личное пространство, которым я обладал долгие годы заключения. Иногда я должен выпускать предвзятые идеи и фразы на свободную орбиту, чтобы затем можно было направить их обратно через коридоры повторного вхождения в атмосферу для приземления на странице. Процесс напоминал ловлю воображаемых мух в зоне невесомости. Я терял самообладание. В паранойальном бреде я уверился, что люди воруют мои мысли. Мои фантазии передавались по воздушным волнам. Я стал запутывать следы на улице, периодически заглушая свой разум, дабы противостоять вторжению. Холод снижал мою работоспособность. Когда вынужден постоянно дышать на пальцы и ходить взад-вперед по улице,

стимулируя кровообращение, работа приобретает новый ритм – удрученный и отчаянный, сродни желанию надругаться, вырвать кишки у единообразия и самодовольства большинства вымыслов.

Несмотря на отмену цензуры, провозглашенную революцией, невзирая на то, что я специально отсылал переплетенные экземпляры своих произведений Директории, меня все равно преследовали. Есть люди, меченные с самого рождения. Что бы они ни делали и куда бы ни шли, их окружает неугасимое свечение. За ними следят, их выслеживают, беспомощная власть их примерно наказывает. Они будто мигрирующие олени, которых клеймили во сне, забрызгав крестец красным. А дальше – лишь вопрос времени. Кто-нибудь раздвинет шлицу пиджака, являя взору метку, а другой сорвет темные очки, обнажая глаза, в которых написано «Я ЕСТЬ». «Я» – в правом зрачке, «ЕСТЬ» – в левом. 119

Я неразрывно связан со своими произведениями. Опасность гналась за мной, словно изменчивый зверь, который, грохоча копытами, пригибался и набрасывался на меня, или же я чуял едкое зловонное дыхание, шершавый язык ощупывал впалые щеки, едва заметную черту между моими сжатыми губами. Как только оно настигло, деваться некуда. Ищешь себя в зеркале и встречаешься с его отражением. На улице ступни твои превращаются в копыта, из копчика вырастает жилистый хвост.

Я старался не выходить из дома. В те времена человека могли вернуть семье уже обезглавленным. Безумные дни, когда люди поняли, что революционному произволу не нужно останавливаться. Они превратили Париж в озеро крови и расхаживали по нему в атласных тапочках. У реки стоял сумасшедший и выкрикивал, что это – Черное море. Оно расступится навсегда, если только увидеть другой берег.

Возможно, я даже знал его. Ретиф де ла Бретонн – человек, начавший распарывать швы моей жизни. Наверное, его мозг вырабатывал враждебность ко мне месяцами, годами. Он слушал, как мысли накатывали и откатывались по ночам: внутренний диалог, захваченный инерцией прибора. Должно быть, прилив потемнел и поднялся у него в голове, черная вода зашумела, мчась по жилам, опрокидывая

обломки, взметая мое огромное лицо у него в мозгу. Он опубликовал свой роман «Анти-Жюстина», дабы упрекнуть меня публично и объяснить, что мои произведения, в силу своего экстремизма, оскорбительны для профессии порнографа. Зависть и озлобление – слепые пятна в умах тех, кому не хватает широты взгляда. Они вступили в смерть, а я остался в живых. Они убили свои клетки, я же выправил свою биохимию.

120

6 марта 1801 года меня арестовали в седьмой раз за тридцать восемь лет. Франция уже была в руках Наполеона Бонапарта – первого консула, и народ жаждал национальной самобытности, возрождения власти. Без долгих рассуждений меня отправили в Сент-Пелажи, а затем перевели в Бисетр. Палата приладилась к моему хребту. На спину навалился гранитный утес. Мир словно давил с двух сторон, оставляя лишь эту щель, через которую можно с трудом дышать, щурясь и заглядывая во внутреннее пространство. Быть может, там я и нашел своего целителя, который помог мне уцелеть? Долгое время я съезжился в уменьшенном средоточии тепла. А потом вспыхнул свет. Белый. Я уставился на него, прикованный к месту, и понял, что в центре кто-то сидит. Он сидел, поджав ноги, закрыв глаза и сосредоточившись на внутренней точке. Между нами не было никакой связи, не считая того, что мы пересекались. Но чем дольше я смотрел, тем отчетливее понимал, что лицо не исчезнет. Как будто глядишь на солнце и вдруг осознаешь, что небо исчезло и не осталось ничего, кроме этого странного светлого пятна. Когда человек открыл зрачки глаза, в меня вошла сила. Я почувствовал, как мои жилы затопил электрический жар. Я затрепетал от этого тока. Все мертвое во мне ожило. Я вошел в сон. Я сидел на металлическом стуле – легкой и гибкой алюминиевой модели, которой мы пользуемся теперь, – и смотрел в окно студии на Париж. Женщина на плоской крыше напротив была обнажена. Подле нее грелся на солнышке рыжий лев. Один раз он встал, попил воды из миски, зевнул и снова лег спать.

Поскольку сны не оставляют выбора, я подчинился ходу событий. Женщина держала в руках какую-то схему – доску, на которой лежали бумаги. Вдруг я заметил на обратной

стороне доски калейдоскопический оттиск молекул ДНК, спиральные цепи, увеличенные электронным микроскопом. Разумеется, лишь ретроспекция и знание биотехнологий позволили мне истолковать сон таким образом.

Женщина повернулась спиной, и я увидел голову льва вместо ее ягодиц – некий анатомически отредактированный сфинкс. Четыре прямоугольные черные тучи выделялись на идеально голубом небе. Они были похожи на подвешенные строительные блоки. Когда они сместились влево, я проснулся. 121

Со мной что-то произошло. Вначале я не мог понять смысла всего этого. То, что я пережил, было расширением внутреннего пространства. Появилось так много свободного места. Я уже не сидел в тюремной камере, а был повсюду. Физическое пространство больше не сжималось – больше не пугало меня. Я мог путешествовать по вселенной, добраться до самых звезд. Ни один человек не видел жизнь так, как я. Я был абсолютно одинок. «Даже боги, – написал я в «Жюльетте», – не измыслили бы того, что мне в воображении хочется сделать с жопой». Я стал сильнее опираться на саму жизнь, подключив возможности, по-видимому, не связанные ни с кем из живущих.

Снова осень? Едва отворяю дверцу машины, меня затапливает запах сырости. Закрываю глаза и предвкушаю багряно-золотистый пожар листвы, стук желудей и каштанов: размером с коровий глаз, каштаны выпадают из кожуры в траву. Пчелы с глухим жужжанием проносятся по безумной орбите, оса пьянеет от яблочного сока – вспыльчивая, начиненная сидром пуля с ядовитой иглой в хвосте. Тонкая полоска голубого дыма поднимается над костром на краю поля. В недвижимом воздухе звуки слышней. Голос перелетает через три поля, словно шепча на ушко. К чему же я прислушиваюсь? К знакомому голосу, биению вселенной, незнакомцу, подходящему ко мне с известием – последним известием.

Пока я считал себя смертным, я выдвигал особые требования, как обходиться с моими останками после смерти. Я напому их. Эти распоряжения написаны в пору озлобленности, полного нигилизма.

Я строго воспрещаю проводить вскрытие. Я прошу, чтобы на двое суток мое тело оставили в комнате, где я умру, и поместили его на весь сей срок в открытый гроб. Тем временем гонец отправится к мсье Ленорману, торговцу лесом из Версаля, и попросит его лично перевезти тело в лес в моем мальмезонском имении близ Эперона, где я желаю, чтобы меня похоронили без всяких церемоний в первой же роще справа от леса, коя встретится на главной дороге, ведущей из старого замка. Мою могилу выроет мальмезонский крестьянин под водительством мсье Ленормана, который покинет мое тело лишь после того, как оно будет погребено. Родственники и друзья могут присутствовать на похоронах, однако же без всякого траура. Коль скоро яма будет засыпана, ее усеют желудями, дабы со временем всякий след моей могилы исчез с лица земли. Я тешу себя надеждою, что память обо мне тоже изгладится в умах людей, за исключением тех немногих, кто продолжал любить меня до конца.

Написано в Шарантон-Сен-Морисе, в душевном и телесном здравии, 30 января 1806 года.

Мои распоряжения, разумеется, проигнорировали. Хоть я четко потребовал атеистических похорон, над человеком, которого опустили в тот день в землю, свершили христианские обряды. И всего несколько дней спустя френолог Галь послал своих студентов отрезать мне голову – для изучения черепа. Но это все история. Едва ли она меня касается. Действительная проблема – в вымышленной личности. Я говорю с вами сейчас, перед тем как возобновится моя реальная жизнь в Лакосте. Если существует такое явление, как реинкарнация, а эмпирические этапы жизни и смерти повторяют изменения характера, то почти каждый, кого вы встречаете либо видите, мог быть знаком с вами в прошлой жизни. Вы стареете, и, быть может, белокурый мальчик, играющий в соседнем саду, – это ваш отец, потерянный много лет назад. Вероятно, вы оба никогда не узнаете правды. А ваша мать? Она ведь могла стать привлекательной девушкой в облегающей черной юбке и белой блузке,

с ярко-красной сумкой через плечо, и вы бы на нее оглянулись на главной улице города. Едва стираются различия между живыми и мертвыми, возможным становится всё.

Но я просто есть. Моя жизнь приспособилась к эпохе. Моими вкладами заведует команда консультантов; мир странно сжимается, когда я перелетаю на реактивном самолете с континента на континент. В моей нью-йоркской квартире есть вертодром. Проституток-трансвеститов – чернокожих, азиатских, голландских – доставляет мой личный пилот, и это забавно. Один японский мальчик красится в стиле гейши-эфеба: белое лицо, черные губы сердечком и золотая пыльца на веках. Мы в основном разговариваем. Я расспрашиваю его о клиентах, об их индивидуальных фетишах, как далеко он готов зайти, чтобы их ублажить. Когда он уходит, я все записываю:

123

Джеймс, брокер с Уолл-стрит. Я должен посещать его на чердаке, сплошь обитом кожей. Он там не живет – купил только для свиданий. После смерти матери у него развились своеобразные пристрастия. Любит, чтобы я повязывал на его гениталии розовый атласный бант – из тех лент, что идут на коробки с шоколадом. Я должен лежать ничком на стеклянном столе, а он – подо мной на полу. Мы разделены стеклянной плоскостью...

И так далее. Этот мальчик, называющий себя Оми, претворяет в жизнь веления сексуального вымысла. Я перепишу его рассказы, они – часть того бессрочного труда, что выражает мою континуальность. Каким будет секс в двадцать третьем веке? Пожалуй, к тому времени уже можно будет опубликоваться.

Вероятно, в следующем месяце Оми посетит Лакост. Я компенсирую ему заработок за несколько месяцев. Я пытаюсь восстановить кружок рассказчиков, которых использовал в «120 днях Содома». Компания или общество, чья задача – возбуждать словами. Взамен Дюкло, развлекавшей сборище развратников из моего старого романа скатологическими, некрофильскими историями об испытанном или увиденном, – многообразием извращений, на которые

способна ограниченная человеческая анатомия, – мне нужен слуховой эротический стимул конца двадцатого века.

124 Я пригласил бы и других. Бутча, с которым познакомился в Пигале. Он много лет работал в Булонском лесу и перенес множество ошеломляющих физических метаморфоз. Начиная с бритой головы и тела, легкого, как две намагниченные булавки, и заканчивая сиреневой гривой с растафарианскими дредами или образом а-ля Лу Рид года 1976-го: бейсболка, черные зеркальные очки, красная помада. Уперши одну руку в торчащее костлявое бедро, Бутч бросала миру абсолютный вызов. У нее тоже была целая сеть частных клиентов. Эксцентричных фетишистов – людей, чьи потребности осуждены обществом и несовместимы с долговременными отношениями. Ее постоянных клиентов звали Рыжая Королева, Розовый Пузырь, Арман-Вуайерист, Джимми Не-от-мира-сего, Жеманный Позер – целый ассортимент эротической экстравагантности.

Еще Марлен из Амстердама. Я познакомился с ней, когда она изо всей силы швыряла ярко-зеленый теннисный мячик в стену и ждала отскока. Мячик бешено метался из света в тень и обратно. Меня привлекло то, как решительно она поддерживала ритм и как следом скакали мысли. Ее разум перепрыгивал из одного полушария в другое: от непристойного – к подкупающе-наивному; от черного юмора, который я культивировал в своем кружке, – к воспоминаниям детства, поискам примеси неба в капле росы и составлению воображаемого словаря дождя, гулко метившего сухую дорогу перед ливнем. Марлен с детства переодевали в наряды противоположного пола, и она узнала, что женское лицо идет мужскому телу. Это привлекало чудаков, принадлежавших к одному тайному обществу, представителей породы, обитающей по ночам в клубах и рококо-барах, среди позолоты и зеркал, а также сумасбродных богачей, что снимали ее для свиданий в своих городских апартаментах.

Марлен приедет в Лакост этой осенью. Зеленые глаза, отчасти восточные черты, шелковое платье соскальзывает с явно мужского плеча, строение скелета противоречит хрупкости женственных жестов.

Я столько знал и каждый год собираю в Лакосте новую компанию. Несмотря на свои пределы и неизбежные повторения, эротика, вопреки расхожему мнению, неисчерпаема – она постоянно перерабатывается воображением. Устное слово расширяет сексуальный диапазон. Воображение не только порождает новые способы видения мира, но и изобретает неисследованные эротические возможности. В «Автокатастрофе» Дж. Г. Балларда приведен лишь один метод получения новой сексуальной геометрии из технологий современного мира.

125

Эти люди приходят и уходят, и я переживаю всех. Наша компания никогда не повторяется. Сколь бы экстремальными ни были пристрастия участников, вскоре мне требуются новые удовольствия и новые желания. Прибывающие гости ожидают увидеть тучного, пожилого представителя старой французской аристократии, живущего среди реликвий, унаследованных из прошлого: секретеров в стиле Людовика XIV, полки с аккуратно переплетенной эротикой восемнадцатого столетия и пресловутых эмалевых медальонов, где показаны гиперболические позы, или то, что сегодня мы назвали бы группухой. Во многих медальонах женщина сидит на эрегированном пенисе мужчины, а вокруг талии вздуваются юбки. Вторая наблюдает за первой, запустив одну руку подруге под юбку, а другой обхватив ее соски, тогда как мужчина, сидящий сзади, вставляет ей ладонь между ног.

Однако мои избранные посетители обнаруживают полного жизни, нарядного мужчину в сером костюме от Пола Смита или в черном шелковом облачении от Ива Сен-Лорана, с оранжевым поп-артовым галстуком на белой дизайнерской рубашке. Моя внешность их смущает. Я не принадлежу ни к одному сословию и озадачиваю своей внутренней сосредоточенностью, что окружает меня аурой бессмертия. Как подступить к такому человеку? Кратко соприкасаясь с людьми в разговоре, случайно встречаясь с ними за барной стойкой или на вечеринке, мы осознаем индивидуальную смерть, таящуюся у них внутри. Мы оцениваем их жизнестойкие качества по незримому вырождению, проступающему в их теле. По этой-то напряженности мы и узнаем человека.

Но кто такой Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад? Его имя, вечно вызывающее полемику, стоит на обложках дурно переведенных книг, написанных три столетия назад. Сам же я – здесь, среди тех, кто собрался в Лакосте. Многие ли уцелеют? И куда затем направятся? Пройдет пара месяцев после первоначального шока, и они заговорят обо мне – в настоящем времени, но люди примут его за прошедшее, дабы держать меня на безопасном расстоянии.

126

Мертвых эксплуатировать легче: люди находят защиту в исторической перспективе, не понимая, что наследие каждого поступка записывается в их генах. Разве все диктаторы не встают и не салютуют у нас в памяти? Они хотят убедить нас, что были правы. За пиками их военных фуражек громоздятся курганы из мертвецов – высотой с небоскреб. Одинокая женщина стоит, заслоняя руками глаза, и ищет сына. Он ушел так давно, оставив простой сельский дом, стадо коров на лугу да мелочь в общей бутылке у двери. Он – некто без личности, облатка, зажатая меж другими телами. Когда их убили, они уже не ели две недели. Женщина ставит оранжевую розу в банке с водой у вертикального кенотафа. Поезд больше не ходит в деревню: туда никто не ездит. Возвратиться можно только пешком. Она будет идти недели три по пыльным дорогам, и ни одна машина не остановится ее подвезти. Таков удел бедных пред лицом материализма.

Я – центр, хотя и не вхожу в компанию. Я достиг невозмутимой непобедимости и отрешился от происходящего. Но это самое опасное положение. Я слишком глубоко укоренен в жизни, слишком всеядно искушен и не в силах испытать шок. Едва меня что-нибудь настигало, я двигался дальше, всегда убегая в неведомое, непрослеживаемое. Но происходящее для меня жизненно важно. Я имею в виду: кто кого ебет – в воображении либо во плоти. Это неизменно. Лишь утонченность мысли, всем этим управляющей, требует уровня компетентности, доступного немногим.

Как раз сейчас пора назначать свидания по телефону. Красный лист сменяет оранжевый, как желтый предшествовал бронзовому. Мой дневник, мои адресные книги раскрыты на карточках, номерах, черные числа подчеркнуты алым.

Особенные люди отбирались по всему свету, их доставляли из столиц и деревень, где я останавливался в своих транс-континентальных разъездах. Кем был тот мальчик с оливковой кожей, качавшийся в гамаке, с соломенной шляпой на гениталиях? Позже вечером сестра припала к его ногам, и эти двое вступили в сговор, который огласят в Лакосте. В каких они отношениях, как я могу их развить и добиться, чтобы об этой связи никогда не забыли? Все начинается с открытия взаимной юной тяги, но со временем преоб-
разуетс¹²⁷я в столь причудливый союз, что для его описания придется выдумать новый язык. И случится это в Лакосте. Как всегда, я приеду раньше гостей. Займу стул в огромной голубой библиотеке и стану жить там наедине с воспоминаниями. Где-то в окрестных полях выстрелит дробовик, туристический автобус устремится к древним моим руинам. Они выйдут – немецкие, французские, японские экскурсанты – и подумают: «Он жил здесь – вероятно, ходил по этому двору, взбирался по ступеням к оконным нишам». И попытаются вообразить меня. Но, придавая форму тому, кто очаровывает своей дурной славой, они поневоле воображают монстра. Человек ли тот, кто завещал нам «120 дней»? Но разве он не заходил в эту самую библиотеку, чтобы поставить вазу с желтыми розами? Быть может, спросят они, он был пророком, чье подсознание интуитивно предвосхитило политиков двадцатого века, ответственных за геноцид? Разве большинство моих персонажей не преобразуются в мировых лидеров, что каждое десятилетие угрожают жизни планеты? И не окружено ли мое имя мессианским ореолом? Ведь неспроста же у Бунюэля в «Золотом веке» мое создание, герцог де Бланжи, выходит с оргий «120 дней Содома», продлившихся целую зиму, в костюме Христа. Разве я не нашел в Аполлинере сочувствия, которое и привлекло к моим произведениям внимание двадцатого века? И разве его роман «Одиннадцать тысяч палок» – не продолжение того труда, что я начал и свершаю поныне?

Если в болезни присутствует бог, если он – психическая манифестация, озаряющая патологию, значит, я создал новый пантеон. Каждое отклонение следует рассматривать с точки зрения его божества-хранителя. Иногда внутрен-

нее и внешнее совпадают, а моими маниями управляло множество богов. Но имманентность коротка. В голубом небе открывается красный занавес. Через идеальный прямоугольник я заглядываю в тыл глубинного пространства. Затем вновь собираются стаей грачи, заслоняя дождливое сентябрьское небо. По нему несется дым, и на грузовик складывают тыквы: оранжевые осязаемые солнца, выросшие из земли, – светила, которые затем испекут и съедят осенними вечерами.

На моем письменном столе стоит словопроцессор и стопка книг: некоторые я купил из любопытства, ведь они – обо мне. Что говорит Пьер Клоссовски в книге «Сад, мой ближний»? Прочту вслух: «Извращенец стремится осуществить уникальный жест; это длится всего секунду. Извращенец всю жизнь ждет той минуты, когда этот жест можно будет осуществить... осуществление этого жеста соответствует в его уме всей сумме бытия».

В библиотеке меня никто не потревожит. На стену я повесил картину Кловиса Труя «Luxure, ou les rêveries du marquis de Sade»*. Смерть и любовь на ней сопряжены с оргиастическим иступлением. Я с плеткой в руке грустно размышляю у развалин Лакоста. Роскошные девушки в черных чулках и на высоких каблуках связаны или прикованы цепями. Я облокотился на череп, под ним – роза. В ритуале участвуют два козла. Девушка в шляпе задирает платье, обнажая ягодицы. Она лежит на склоне, усеянном цветами. Мой взгляд обращен внутрь. Я созерцаю идею того, что переживаю. Реальный мир – в воображении.

Но разве мои экстремальные переживания не целомудренны? Где-то за ними – мое понимание жизни как простого парка с ровными аллеями и скамейками, изолированной территории. Три школьницы в синих макинтошах, подпоясанных на талии, смеются над любовной запиской, которую одна показывает другим. У той, что держит мятый прямоугольник белой бумаги, золотисто-каштановые волосы закрывают лицо. Две другие – брюнетки, у одной губы накрашены шокирующей розовой помадой. Она влюблена в свое

* «Разврат, или Грезы маркиза де Сада» (фр.).

отражение и подражает внешности популярной певицы. Ее возлюбленный – зеркало. Просто три школьницы, смущенные своими чувствами к юноше, встреченному на каникулах. Я смотрел, как они проходят мимо. У меня масса времени. Мой лимузин припаркован на улице, идущей параллельно парку. В мыслях моих они уже были голые. Тугие маленькие попки, украшенные помадными непристойностями, которыми я распишу их плоть; голубые полумесяцы – следы засосов, оставленных моими губами. Я бы мог быть понапористее, угостить их чаем в ближайшем кафе, поговорить о книгах, искусстве, жизни и постепенно свести беседу к сексуальным отклонениям. Мог бы – да так и сделал. Одна из девушек поехала вместе со мной – та, с шокирующей розовой помадой. Она влюбилась в идею отношений вне установленных рамок. Мальчики ничего не могли ей предложить. Она искала откровения – андрогина в танцевальном трико и сиреновом жакете, усыпанном стразами, с глазами, подкрашенными черной тушью, и непонятной половой принадлежностью. Этот человек познакомит ее с новой формой соития. То будет неопишуемо: через вход, который раньше не использовался. Ухо? Ноздрю? Промежутки между пальцами рук и ног? Отверстие, лелеемое и оберегаемое лишь для этой встречи с андрогином.

129

Я привел ее в свою квартиру на острове Сены. Она посмотрела мои полки с эротикой, пролистая «Удовольствия жестокости, продолжение „Жюстины“ и „Жюльетты“» и с жадностью набросилась на другую диковину – «Садопедию, или Приключения Сесилия Прендергаста, выпускника Оксфордского университета, где описывается, как отрадными путями Мазохизма он был приведен к высшим утехам Садизма». Там были еще «Бафомет» Пьера Клоссовски и несколько романов Андре-Пьейра де Мандьярга – второстепенные вещицы, которые просто попались ей на глаза, но разожгли любопытство, обретшее такую власть над ее душой.

Я подошел к ней и взял «120 дней Содома». Раскрыл наугад и, притворившись изумленным, прочитал вслух: «Там все встретятся вновь... Все будут голые: историки, жены, девочки, мальчики, старухи, ебари, друзья; все будут связаны узлами, распростерты на плитах, распласта-

ны на земле, и, по примеру зверей, будут переодеваться, ебаться, совершать инцест, адюльтер, предаваться содомии и, за исключением дефлорации вульв, всем излишествам и отклонениям, способным возбудить разум как можно сильнее».

130 Ивлин молчала, точно в транс. Расстегнула молнию на короткой черной юбке, и та смятым цветком упала к ее ногам. На Ивлин были просвечивающие трусики такого же шокирующего розового цвета, как и ее помада. Она стояла ко мне спиной и смотрела в незанавешенное окно на реку. Серебристый свет скакал на зеленом фоне, хребет воды озаряли звезды. И в этот миг она обрела неприкосновенность. Хоть я стащил с нее трусики зубами, перегнул ее через кресло, повернул ягодицами к себе и набросился со своей неистойвой плеткой, казалось, будто в комнате никого нет. Я не мог дотянуться до предмета своей страсти. Ивлин – неуязвимой в хризалиде сна – здесь не было.

Ценность памяти. Я бы столько мог поведать вам, но и важнейшие впечатления стираются за века. Теперь я все сохраняю в компьютере. Через столетие и сам удивлюсь тому, как я жил. Что я могу покамест вам рассказать о своих интимных переживаниях? Есть мои письма – те, что уцелели, и те, что еще не написаны.

Париж, 19 мая 1790 года.

За неделю до взятия Бастилии семья Монтрёй предусмотрительно добилась моего перевода в Шарантон. Там, дорогой мой Рено, эта аристократическая мразь, известная под именем Монтрёй, семья, которую я презираю, как уличные нечистоты, с присущей ей подлостью вынудила меня девять месяцев прозябать в больничной палате с сумасшедшими и эпилептиками... До сих пор не понимаю, как мне удалось выжить. Наконец, девять месяцев спустя мои дети приехали меня проведать, и один из них взял на себя смелость спросить, по какому праву я был задержан. Тюремщик, не зная иной причины моего ареста, помимо наущения семьи моей жены, повел меня к двойным воротам. Те скрипнули петлями, и я вышел на свободу.

Исторический момент. Поворотный пункт человеческой жизни. И больше ничего. История – будто непрерывная осень. Что бы ни случилось, все погребено листопадом, и в итоге уже ничего не восстановишь в памяти. Оно так глубоко, что и не вспомнишь. Цивилизации обращаются в минералы, в прах; эпохи записываются в лексикон подземных пластов.

У меня полосатая рубашка, бело-оранжевая. Тонкие вертикали. Я меняю в день по две рубашки, а в полдень – костюм. Есть во мне эта привередливость, эта потребность одеваться современно, но в то же время – безукоризненно и неброско. Я подбираю себе одежду в путешествиях, но чаще костюмы мне шьют лучшие парижские модельеры. 131

Вскоре я услышу, как по аллее подъезжает машина с первыми нашими осенними гостями. Большинству из них я выдам текст, где описываются события в бесславном замке Силлинг – этой топографической случайности, которая защищена пропастью. Так что по контрасту Лакост покажется не столь угрожающим. Я вновь услышу, как мои помощники-трансвеститы открывают бондажные камеры в подземном лабиринте замка. Прелестные юноши в коротких кожаных юбках или облегающих шортах поведут гостей внутрь. Все, кто приедет сюда, осознают в себе эротические импульсы, которые прежде подавлялись. Они обнаружат новые эрогенные зоны и вернуться в мир другими. А рано или поздно все они захотят вернуться. Вступив в мифическое царство сексуальной инициации, бросив работу и возлюбленных, дабы приехать сюда, впредь они уже будут не в ладах с миром. Трансовая природа их переживаний всплывет в снах. Их настигнет тоска по осени, неотделимой от сексуальных обрядов. У многих случатся гендерные изменения – так настойчиво им захочется испытать удовольствия, увиденные в Лакосте и доступные исключительно противоположному полу. В путешествиях я иногда встречаю этих людей. Выпиваю с ними в барах Монмартра, Гринич-виллидж, Амстердама – слушаю и наблюдаю. Меня никогда не узнают. Они рассказывают о моих деяниях, а я слушаю, как в первый раз. Неужели я действительно был таким? Настолько свыкся со своими бондажными экс-

периментами? Я заказываю еще два бурбона, и повествование плетет свою нить, как паук паутину: шелковые стежки, один – правда, другой – ложь. Моя жизнь – непрерывные выдумки в барах для трансвеститов. Вернувшись в машину и прижимаясь к теплой красной коже, я достаю из-за пазухи диктофон и переслушиваю разговор на кассете. Все пленки отправляются в архив, на котором основаны мои будущие книги.

132 Через полчаса мой шофер вернется с вокзала. Возможно, он привезет сюда Оми. Только я не хочу его встречать. Он будет не тем Оми, которого я знаю, а сосредоточенным и напряженным; он уже отправился в странствие – к исследованию самого себя. Остаток дня он проведет в старой подземной часовне, созерцая эротические фрески и обильно зачерпывая кокаин из большой хрустальной вазы, которую я поставил в центре комнаты. Затем он появится голым. Маска театра кабуки превратит его в посвященного. Полгода спустя его отвезут обратно на вокзал. Я увижу его тем же летом в Нью-Йорке, и наше знакомство продолжится, будто он и не приезжал в замок.

Согласно мифу или реальности, – зовите, как угодно, – последние дни я провел в шарантонском сумасшедшем доме. Там-то я зачал театр, который Арто откроет в этом столетии. Все актеры были душевнобольные. Иногда они поджигали занавес, варварски, безудержно витийствовали, вступали в шизофренический диалог, забывая о своих ролях. Все и вся стало возможно. Мужчины раздевались прямо на сцене. Кто-то проглотил свой сценарий. Зрители пугались и убегали. Наполеоновские министры были проинформированы, но заведующий лечебницей аббат де Кульмье усмотрел в драме терапевтический эффект и препятствовал попыткам шефа полиции выписать меня из этого учреждения и возвратить в тюрьму. Поскольку «он бредит лишь о пороке», утверждал шеф полиции, де Сада следует возвратить в зловонное логово, где он уже оказывался бесчисленное множество раз.

Говорят, у меня тогда еще остались неплохие связи, и посредники позаботились о том, чтобы меня держали в непростительном холоде и умственной изоляции боль-

ничной палаты, а не обрели на душераздирающую герметичность тюремной камеры.

Спектакли прекратились, едва достигнув кульминации – оскорбления общественной нравственности. На сцене у осла непроизвольно возникла эрекция – от запаха человеческого пота и телесных ароматов одной рыжеволосой актрисы. Несколько раз за спектакль она резала ножницами ноги под юбкой, показывая, что на ней трусики с дыркой в паху. Когда осел накинудся на нее, публика ворвалась на сцену. Образец неумышленного юмора де Сада – вот почему в лечебнице вообще упразднили театр. Столетие спустя подобная сцена в «Кабаре Вольтер» удостоилась бы аплодисментов.

Теперь я полон воспоминаний. Они громоздятся кучевыми облаками и так же быстро рассеиваются. Важно, чтобы индивидуальное всегда противостояло коллективному; революционный дух в искусстве и политической идеологии должен стать превыше всего, если наша цивилизация не хочет погибнуть от рук целлулоидных обрезков – людей, что полностью отделились от своей внутренней жизни и стали первой расой Внешних.

Я переживу вас всех. Я готовлюсь к этому последнему одиночеству. Но я останусь не совсем один: лучших своих помощников-трансвеститов я тоже запрограммировал на жизнь без клеточного распада. Я пощажу Оми, Бутча, Марлен и отыщу Филиппа. Они останутся со мной, когда человеческий вид устремится навстречу гибели. Вообразите: опустошенную Землю унаследуют трансвеститы и транссексуалы, восставшие против своего хромосомного набора.

Машина возвращается все чаще. Из окна я замечаю, как белокурая девушка с зелеными глазами и ее подруга с каштановой шевелюрой бегут подобрать страницу, выпавшую из записной книжки или дневника. Приедет ли Ивлин как-нибудь дождливым днем, когда большие желтые листья платанов усеивают подъездную аллею? В том же подпоясанном дождевике, с шокирующей розовой помадой на губах, в шокирующих розовых трусиках. Отправится ли в часовню и помолится, чтобы на сей раз ее взяли во плоти?

Все созданное мною сохраняется. Любые рассказы о жизни – лишь фрагмент, стеклянный осколок кристалла, микрочип, выпавший из системы. Кружатся листья. Виноградная лоза тяжелеет и ломается. «120 дней Содома» были написаны между 22 октября и 28 ноября 1785 года в Бастилии. Их отголоски по сей день тревожат мир, но это мелочь по сравнению с тем, что я уготовил на будущее. Мой сексуальный идеал осуществился вплоть до последней приметы.

Кто из читающих эти строки не воспользовался хотя бы одной из моих полисексуальных рекомендаций?

Комната ожидает всегда. Ее стены обиты черной кожей, постель – из черного атласа. Рогатый минотавр лениво поднимается с красного коврика и шаркает прочь из комнаты. Видеотехника оживает. Тишина так наэлектризована, что вибрирует в преддверии бури. Я слышу эхо десяти моих шагов, которые вторят высоким каблукам. Кажется, будто мы веками бродили под землей. Не знаю, за кем иду – за мужчиной или за женщиной. Изредка по коридору проплывают одинокие облачка – словно обрывки сна, туманные мозаики, что сгорают, превращаясь в пустыни, которые заселяются картинами Дали и Танги, – великие просторы воображения. Уличная сценка с бушующим огнем и ордами безумных мародеров просвистывает над моим правым плечом – ее удар легче снежинки. События в онирическом космосе – словно галлюцинаторные обратные кадры. Мы идем всегда на одном расстоянии. Ее каблуки ведут, мои – преследуют. Никакой спешки; когда наступит наш оргазм, он продлится тысячу лет. Я брошу ее на живот и войду, сжимаясь – мучительно, вне времени. Жизнь проходит мимо в обратную сторону.

Разве мы не шагаем прямиком в будущее, которое я предчувствовал? Передо мной фигура, и на ней нет ничего, кроме золотистых трусиков танга. В свое время я сниму этот узкий треугольник сзади и исчезну. Наверное, я буду заниматься сексом в глубоком трансе, пытаюсь, как астронавт, состыковаться в зоне невесомости. Каблуки все цокают. Потолочные лампы – через равные промежутки. На сей раз нам предстоит долгий вояж. Мои телохранители следуют за мной. Владыки преисподней нас пропускают. Розы

и экскременты. Мелкие зверьки, вспугнутые нашими шагами, резко отскакивают. Остается лишь идти дальше. Думаю, впереди шагает Оми – впрочем, это может быть кто угодно. Вместе мы доберемся до новой расы. В последний раз назову свое имя: Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад. Пусть его провозгласит будущее. Снова каблуки. Пантеры послушно крадутся мимо в другую сторону, шныряя из камеры в камеру. На пути лежит кобра: в ее осоловелой коже, точно в дождевом небе, отражается пасмурная лагуна. Здесь же разлеглись львы, леопарды, тигры – мой подземный зверинец. В эротизированной часовне поют кастраты. Мы – неприкасаемые. Нас не тронет ядерный взрыв, вселенский катаклизм. Женщина в кожаных сапогах до бедер выходит из комнаты с копьевидным красным пером в руке. Ее любовница ждет на корточках в камере напротив. Сфинкс выползает из сна, раздвигает песок, запорошивший нам ноги. Странствие ведет к центру внутреннего пространства. Архетипы непрерывно видоизменяются, они – тропы в царстве бессознательного. Одежда спадает с меня, ее подбирает мой спутник. Мой пенис распускается, как бутон, – оргиастическим пурпурно-белым цветком. Мой путь избран. Огромные птицы пролетают, хлопая кожистыми крыльями. А каблуки по-прежнему цокают впереди. Осталось совсем чуть-чуть. Наше слияние станет эволюцией мифа. Ребенка заберут обратно на землю и увезут в закрытой машине. Его мать будет первым трансвеститом, родившим дитя. Когда наступит конец света, оно встанет, салютуя, на белом пляже. Что же касается нас, мы пока лишь предвкушаем наслаждение. Ежегодно в Лакосте инсценируется первозданный оргазм, осеменивший звезды. Только мы обращаем его вспять.

135

По-моему, я приближаюсь к своему партнеру. Он растегивает застёжки по бокам, и его золотистые танга спадают. А высоко над нами золотистые листья опадают на башенки, аллеи и тех немногих, кого мы выбрали и позвали к себе в Лакост.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «KOLONNA PUBLICATIONS»
можно приобрести в Москве:

«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Dodo Space» Рождественский бульвар, д. 10/7
«Гилея» Нахимовский пр-т, д. 51/21
«Молодая гвардия» ул. Б. Полянка, д. 28
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Проект ОГИ» Потаповский пер. д. 8/12, стр. 2
«Клуб 36,6» Рязанский пер., д. 3

в Петербурге:

«Петербургский Дом книги» Невский пр., д. 28
«Индиго» Невский пр., д. 32-34
«Порядок слов» наб. Фонтанки, д. 15
ДК им. Крупской, стенд фирмы «Ретро»

через Интернет:

«Ozon» ozon.ru
«Esterum» esterum.ru
«Petropol» petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Международная книга» mkniga.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на Украине:

«Либра» librabook.com.ua

По вопросу оптовых продаж
обращаться в ооо «Берроунз», тел. (495) 971-47-92

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте kolonna.org

Джереми Рид КОГДА ОПУСКАЕТСЯ ХЛЫСТ

КОЛОННА PUBLICATIONS. Россия, Тверь, улица Л. Базановой, 20
Подписано в печать 12. 05. 2010. Тираж 500 экз. Заказ № 394
Формат 70 × 100/32. Объем 4,25 п. л. Гарнитура ITC SNARTER
Подготовлено на оборудовании APPLE MACINTOSH
Отпечатано в ооо «Осташковская Типография»
172750, Россия, Тверская обл., г. Осташков, ул. Володарского, 33